



Виктор Ремизов

# ВОЛЯ ВОЛЬНАЯ

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА»

# Виктор Владимирович Ремизов

## Воля вольная

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6995387](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6995387)*

*Воля вольная : роман / Виктор Ремизов: АСТ : Редакция Елены Шубиной; Москва; 2015  
ISBN 978-5-17-087303-6*

### **Аннотация**

Виктор Ремизов – прозаик и журналист, автор сборника рассказов «Кетанда», первые публикации вышли в журналах «Новый мир» и «Октябрь».

Действие романа «Воля вольная» происходит на Дальнем Востоке. Конфликт завязывается между местными охотниками и рыбаками и полицией, собирающей дань с браконьерского бизнеса в районе. Жители поселка делятся на тех, кто готов и даже рад окончательно покориться новому порядку, и тех, кто стремится к «вольнице». Последние уходят в тайгу и пытаются то ли скрыться от преследователей, то ли порвать связи с цивилизованным миром.

Шорт-лист премии «Большая книга».

Шорт-лист премии «Русский Букер».

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1                                 | 5  |
| 2                                 | 12 |
| 3                                 | 20 |
| 4                                 | 23 |
| 5                                 | 35 |
| 6                                 | 40 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 41 |

# **Виктор Ремизов**

## **Воля вольная**

© ООО «Издательство «АСТ», 2014

© Ремизов В.В.

\* \* \*

## 1

Генка распутал веревку, завязал за вбитый кол, натянул, надежно ли, и пошел к лодке. Старая разбитая «обяшка» покачивалась у берега. На носу высокой рыжей кучей веревок и поплавков громоздился невод. Гремя пустыми бортами, вставил весла и кормой вперед неторопливо погреб на струю. Невод широко пополз с носа, зашуршал-забрэнчал о край, груза с хлюпаньем и брызгами падали в воду. Утреннее солнце как раз выглянуло из-за горы и начало пригревать. Налипший на стланиях ледок мокро топился в лужицы.

Не спешил, легко опускал в прозрачную воду грубо тесанные листовые весла и время от времени оборачивался за спину – держался края течения, обметывая яму. Весь август так вот рыбачили они с сыном... Генке тогда как будто все равно было – много там рыбы, мало. Заводили, вытягивали на мелководье, Мишка заходил в невод, выбирал отчаянно бьющихся пузатых самок и бросал на берег отцу, а он, зажав дымящуюся сигарету углом рта, прищурившись и наклонив голову набок, вспарывал мягкое, тонкое понизу серебряное брюхо. Нежные, фиолетово-мясные ястыки<sup>1</sup> бросал в таз, рыбу в воду. Уже безвольную и едва шевелящуюся ее уносило течением.

Но то было в августе, недалеко от поселка и ради денег. Сейчас Генка ловил у себя на участке, в своей речке, и не на икру, а рыбу на промысел. Ему важно было, что он там зацепил, и он нет-нет косил глаза. Вережка, привязанная за нос, тяжело натянулась. Дуга светлых пенопластовых поплавков напряженно плясала по рябой зелени воды, как раз охватывая все улово<sup>2</sup>. Генка налег на весла, круто заворачивая к берегу.

В сужающемся овале невода металась темные спины. Уйти можно было только через верхний урез, через поплавки, но для этого надо было подняться и показать себя, и как раз этого рыбы боялись и продолжали тупо рваться сквозь прочную ячею. Перескакивали самые отчаянные, но таких находилось немного. Остальные, вся разноперая ватага – серебряно-розовые гольцы, полосатая тяжелая кета, обитатели чистых ключей вольняшки-хариусы – перепуганной толпой упирались, держали невод, помогая рыбаку маятником свалиться к берегу и окружать самих себя.

Генка всегда удивлялся: развернулись бы вниз по течению, все бы и ушли, и ничего бы он не сделал. Даже вместе со всей его снастью ушли бы, вон их там сколько. Но они не смели нарушить не ими установленные законы, и Генка, чувствуя неподатливую тяжесть разбухшего от рыбы невода, с усилием, раскоряченными ногами и всей спиной упираясь, приближался к берегу.

Хорошая была яма; он и базовое зимовье здесь поставил, потому что лучше рыбалки по всей Юхте не было. Лодка глухо зашуршала алюминием по гальке, Генка выскочил на берег и схватился за веревку. Тяжелый живой куль невода сам медленно затягивался в обратное течение улова. Генка потянул, понял, что не осилит, и, накиннув веревку на плечо, как бурлак, уперся от речки. Косяк сдавался, сзади уже как следует забурлило и заплескалось. Генка вытянул край на берег, захлестнул за крепко вбитый кол и, крикнув довольно, вытер мокрые красные руки о куртку. Сигареты достал.

Рыбы было много. Она уже не могла биться, давила друг друга на мелководье. Обреченные рты хватали воздух сквозь сеть, жабры хлюпали и пускали пузыри. Здоровый, кил на восемь, широкий самец кеты забился и сам по мокрой гальке выскочил на берег. Генка присел на корточки, разглядывая живые, тугие тела. Покуривал спокойно и благодарно, думал, как завтра еще раз заведет и хватит. Хорошо попало – на весь сезон: и собакам, и на приваду.

<sup>1</sup> Ястык – икра в пленочном мешочке, размером в ладонь, как она есть в рыбе. (Здесь и далее все примеч. автора.)

<sup>2</sup> Улово – место у берега с обратным течением.

Он, как и все промысловики, очень любил эти первые дни перед началом охоты. Речка, лес – все было заново. Все чуть-чуть другое. Старого корефана, с кем год не виделся и кому рад, так рассматриваешь. Поседел, что ли, шрам новый, морщины на лбу, раньше вроде не было... Так и здесь. Берег обвалился в речку, тропу засыпал, вековую лиственницу вывернуло поперек поляны, чуть не на избушку. А еще больше всяких мелочей... все было поновленное, яркое.

И в этой вечной и незыблемой повторяемости – что все обязательно будет точно так же, как и в прошлом, и в позапрошлом году, но все надо будет узнавать заново, – Генка чувствовал большую радость, может, и сам смысл существования. Его над землей, над его речкой и тайгой возносило от ощущения свежести и нескончаемости жизни. И казалось ему в такие минуты, что так будет всегда. И он каждую осень по какой-то немислимой дружбе с Господом Богом будет заезжать на свою Юхту, и все будет заново прекрасно.

В этом году второго октября заехал. Чуть холодом и снегом пахнуло – он рванул. Сезон ничего доброго не обещал: кедровые стланики были усыпаны крупной шишкой, и мыша наплодилось полно – еще летом ясно было, что в ловушки соболь не пойдет. Генка рассчитывал на собак. Пока брюхом по снегу не начнут чертить, до середины, а то и до конца ноября можно было набрать кое-что.

С годами, а было ему сорок три, Генка все больше любил эту одинокую таежную жизнь. Удивлялся – многое ведь с возрастом становилось неинтересным и спокойно удалялось, уходило из жизни, эта же тяга только крепла. В лесу ему всегда хорошо было. Лучше, чем где-нибудь и с кем-нибудь.

Он засучил рукава, поднял отвороты сапог и, раздвигая скользкие упругие тела, зашел в невод. Рыба заволновалась, заплескалась по ногам. Темно-зеленый в красно-розовых пятнах брачный голец, лежащий сверху, поперек другой рыбы, растопырил белые перья плавников на оранжевом брюхе, глотнул судорожно воздух и вдруг зашлепал-замолотил отчаянно хвостом, обдавая охотника с головы до ног. Генка, приподнимая верхний край снасти, кошелкой закрывавший рыбу, брался за хвосты и выбрасывал на берег: отнерестившуюся лошальную кету в одну сторону – собакам и на приманку, гольцов и хариусов в другую – у него две загородки из бревен были приготовлены.

Самцы кеты – широкие, горбатые, с толстыми хрящеватыми клювами, маленькими немигающими глазками и почти собачьими клыками, только изгибались тяжело. Сил биться у них уже не было. Самки – узкие, без горбов, но такие же – в зеленых, желтых и черных поперечинах и пятнах, были крепче, прыгали, пачкаясь в сером песке. Из некоторых еще выползали красные горошины. Совсем уж лошалоного аргыза<sup>3</sup> было немного.

В середине августа, почти два месяца назад, вышли они из моря в лиман Рыбной, хорошо зная, что это их речка, и двинулись вверх, к тем ручьям и тихим лесным протокам, где родились.

Самки не отличались от самцов. Строгими серебряными лососями были и те и другие. Стадо могло заходить две недели, три, а иногда и месяц. Оно разбивалось на маленькие партии по пять-семь особей и уходило вверх. В пресной воде самцы превращались в высоких, горбатых, страшных и тяжелых бойцов, самки круглились животами. Рыбы не кормились, их желудки сжимались, как не нужные для дальнейшей жизни.

Так они и шли. Днем и ночью. Отдыхали, отстаивались в тихих прозрачных уловах перед перекатами. Из Рыбной заходили в порожистую, мелководную Юхту и пробивались – иногда прямо на брюхе, целиком торча из воды, – до родных ям, к своим нерестилищам.

---

<sup>3</sup> Аргыз, или лох, – отметававший икру и подошедший (или почти подошедший) морской лосось.

Ночью на перекатах дежурили медведи и волки, днем кормились мамыши с медвежатами, огромные белоплечие орланы, маленькие плосколицые эвены с хитрыми крючками, а по ямам затягивали невода браконьерские бригады.

Но лососи, одетые в брачные наряды, упрямо добивались своего и, кому везло, приходили туда, где им было указано. И тут, в конце своего пути, они уже были парами.

Медовый месяц проводили на приглубом и прозрачном Генкином плесе. Плавали бок о бок, играли. Отмывали от ила, разгребали носами галечное дно. В какой-то одной ей известный момент самка замирала над гнездом, мелко дрожала перьями плавников и откладывала. Совсем как у людей судорога бежала ее телом, от головы до нелепо изгибающегося хвоста. Самец кидался, и тоже замирал, и покрывал не видимые в воде икринки белым облаком молоков.

Теперь, к началу октября, все было кончено. Большая часть стада отметалась и подохла. Какие-то тухлым, расплзающимся аргызом улеглись на дно рядом со своими будущими детьми, других течением снесло ниже. Все они еще заживо начали разлагаться, слепли, покрывались серой и желтой слизью. Самое безжалостное превращение – из полной силы и высших устремлений прекраснотелой серебрянки в лишаястое, осклизлое и слепое нечто – завершилось. Но не завершилось еще дело природы. Их пузастеньким и прозрачным малечкам, которые рождаются только весной, нечего было бы есть, если бы родители не легли умирать рядом с гнездами и на них не образовался этот так скверно выглядящий планктон.

Они жертвовали собой ради детей, которых им никогда, ни при каких обстоятельствах не суждено было увидеть.

Генка наблюдал все это каждый год, и, может быть, поэтому его удивляло не то, что удивляет всех – как лосось находит свою речку или почему они гибнут, – но все это дело в целом. Невероятно надежное. Неукоснительно происходящее из осени в осень, из тысячелетия в тысячелетие. Из этого огромного живого механизма достаточно было вынуть какой-нибудь маленький кусочек... за тысячи-то лет... один раз... и все бы кончилось. Но никто, слава богу, не вынимал, а само оно не вынималось.

Генка подтянул на берег опустевший невод, в котором остались одни гольцы. Эти тоже были лососями и тоже в брачном наряде, но, отметав икру, не гибли, а, перезимовав по речным ямам, весной спускались к морю – подкормиться селедочной икрой и скатывающимися мальками океанских лососей.

Гольцы не погибали, и, видно, поэтому сила жизни в них была не та – их никогда не бывало столько, сколько заходило морских лососей. Они боялись даже там, где это не имело смысла: какая-нибудь не крупная самочка кеты, защищая гнездо, без раздумий бросалась на голодную стаю гольцов, и те разлетались в стороны. Это были две разные философии жизни. Одни жили и спасались по мелочи, другие жертвовали собой, и это делало их сильными.

Погодка звенела. Все эти дни, пока он с работой поднимался вверх по речке от зимовья к зимовью, солнце стояло во все голубое небо. Лиственницы облетали над плесами. Желтые буроватые хвоинки быстрыми легкими волчками вертелись в звенящем воздухе и вдруг застывали на прозрачной глади. Текли медленно вместе с небом. Их золотистые ленточки мягко обрисовывали берега. Самая приятная стояла погода – минус небольшой, по ночам до десяти опускалось. Лед на лужах не таял. По утрам песчаные берега стояли коловые – шлось как по асфальту. Река парила: камни, коряги, торчащие из воды, были украшены белым куржачком.

Генка ждал снега. Подвалил бы малость, землю закрыл, и он начал бы охоту. Он, правда, и так мог начать, собакам важнее был запах, но вслепую, без веселой, азартной картины следов на снегу... некрасиво было. И Генка, понимая, что вот-вот посыплет, пока работал по зимовьям, держался и собак держал на привязи. Первый соболь, добытый до снега,

был у него плохой приметой – весь сезон потом погода доставала, неделями из зимовья не вылезал.

Для Генки первый добытый зверек вообще был что для цыганки карты – всю охоту по нему загадывал. В первый выход случится, во второй или как? Лучше всего, если в первый-второй, в третий – тоже ничего, дальше хуже – нефартово выходило. Если же еще до охоты, по дороге приходилось стрельнуть, сезон случался суетливым. Примет было много – самка или кот, молодой или старый? На дерево выставят или придется из камней выкуривать?

На самом деле он не помнил толком, что значат эти его самодельные приметы, просто охота была делом важным и начинать ее суетливо или жадно было неправильно.

Не только человек, а и весь мир Божий устроен противоречиво. Генка, раскладывая рыбу, жалел, что нет снега, но и радовался этой солнечной осенней благодати: остывающему небу, притихшей тайге, плесу, поверхность которого угадывалась по медленно смеющимся скукоженным березовым листочкам. Все это вот-вот должно было скрыться под белым. И этого тоже было жалко. Он не знал, что больше любит – тайгу золотую или добытых соболей? Генка бросил рыбу, задумался, замер, глядя на другой берег. Соболей он любил не добытых, но удирающих от собаки.

Он разложил подмерзатъ затихшую рыбу, отшкерил и выпотрошил пару гольцов. Как раз насаживал их жабрами на пальцы, чтобы нести в зимовье, как из кустов вылетела Айка, кинулась к нему, запрокинув голову и виляя не только хвостом, но и задом и даже животом. Не приближалась. На шее болтался кусок перегрызенной веревки.

Айка была первогодка, дочь Чингиза, который подвывал и взбрехивал сейчас от обиды, привязанный у зимовья. Генка не знал, как она будет в работе. С одной стороны, сучонка была как будто трусовата, выстрела побаивалась, с другой – умишко у девушки был что надо. Чингиз за свою долгую кобелиную жизнь не научился перегрызать, а эта все быстро соображала. Надо будет объяснить ей этой веревкой, нахмурился Генка.

– Ты что, курва?! – сказал строго, но почему-то доволен был даже и этим ее проступком.

Сучка тут же смекнула, что прощена, сделала круг вокруг рыбы и, цапнув за спину большого гольца, побежала с ним в кусты. Голец забился, Айка бросила, отскочила и тут же несколько раз быстро куснула рыбину за головой, перекусывая хребет...

– Айка, курва! – рявкнул Геннадий уже действительно сердито.

Айка испуганно шарахнулась, бросила рыбу, развернулась, переступила пару мягких шажков, хвостом вильнула – рожа у нее была серьезная, она как будто соображала, что делать, – и вдруг кинулась к только что украденной рыбе, схватила ее и с деловым видом поперла к Генке.

– Ну что ж ты за сучка такая! – Он качал головой и не мог не улыбаться. – Давай! – взял у Айки рыбу. Мишка научил подавать, подумал.

К зимовью поднялся, порезал тугих, сочащихся живой кровью гольцов в котел, луковичу положил и, налив воды, повесил на костер. Сам думал, чем заняться после обеда. Надо было порванную антенну перетянуть, лабаз починить, выше по Юхте было еще пять избушек, где ничего не было готово – окна и постели под крышей, дрова, что весной пилил, не везде стасканы к зимовьям. И здесь еще дел было много. Рыбы поймать, на лабаз поднять...

Уха кипела и выплескивалась, он вытащил из костра несколько головешек, убавляя огонь, подумал, что рыбы в этом году ни домой, ни собакам не успел заготовить. Ничего, Верка наладит Мишку на рыбалку.

В поселке у него все было в порядке. Дом большой, огород с картошкой и теплицей. И жена. Он никогда и не думал, чтобы беспокоиться. Верка была кремень, он пьяный даже

побаивался ее. В сорок два Лешку – четвертого – родила. Ольге уже было семнадцать, Мишке на год меньше и Любе восемь, могла бы и уняться, но и бровью не дрогнула. «Ты в лесу все время, Ольга в городе, Мишку домой не загонишь – пусть будет». Сказала строго и отвернулась. Генка не против был – хочет, так пусть. И вот годовалый Лешка бегал теперь общим любимчиком.

Дома было все в порядке. Все работали. В августе с Мишкой икру пороли. Почти тонна получилась. Вспомнил и нахмурился. Раньше он этим не занимался, но тут менты сами предложили. Рыба как никогда дуром перла, вот и... рук, видно, не хватало. А может, Васька Семихватский просто по-соседски зашел... Генка согласился, и в конце концов неплохо вышло – свежий, пяти-шестилетний «крузак» можно было из Владика пригнать. Но деньги деньгами, а неприятный осадок остался. Генка до мозга костей был охотник и вырос на том, что в тайге ничего не должно пропадать даром, а тут своими руками загубил столько рыбы. Больше двух тысяч самок – Мишка высчитал. Не то чтобы он никогда раньше икру не порол, бывало, конечно, и часть рыбы выкидывалась, естественно, но когда бросали всю, это было чересчур. Да и непонятно – менты, которые должны были охранять рыбу от него, сами его на эту рыбу поставили. Что-то неправильно менялось в жизни. Кто-то же должен следить, думал Генка, нам только дай...

Он переживал это дело и вспоминать не любил. На соболе, по-нормальному, столько же можно было взять. И это были совсем другие деньги. Но теперь и они почему-то казались Генке нечестными. Он инстинктивно опасался, что все эти перемены доведут до того, что и здесь, на его охотничьем участке, объявится кто-то, кто начнет заводить новые порядки и испоганит охоту.

Костер прогорел, уха уже не кипела, оседала прозрачно. Под красноватым жирком томились разварившиеся рыжемясые куски. Генка бросил два листика лаврушки и снял с угляй. Сигаретку задумчиво подкурил, привычно сидя на корточках. Неприятно было вспоминать ту, попусту загубленную рыбу – суеверия всякие лезли в голову. Если бы легально ловили, вся бы пошла в дело. Даже жрать расхотелось.

Айка, дремавшая на солнце, поднялась и заворчала в лес. «У-у-в», – взбrehнула глуховато, не раскрывая пасти. Чингиз молчал, настроив острые уши. Генка прищурился на склон, сквозь облетающие лиственницы. Тишина стояла, только одинокий негромкий комар звенел у уха. Люди тут редко бывали, медведь должен уже залечь, хотя какие-то болтаются еще... Можно было бы лохматого, подумал, собакам в приварок.

Участок у Генки, как и у всякого штатного охотника в их районе, был большой – больше восьмидесяти тысяч гектаров. В других местах, где соболь был не очаговый, и по двадцать тысяч хватало, но у них зверек держался по ключам и речкам. По верхам, гольцам да сыпунам его не было.

На пятьдесят километров весь правый борт Юхты принадлежал Генке. Соседняя долина Эльгына была кобяковской, а верховьями Генка граничил с Сашкой Лепехиным. Два зимовья у них с Сашкой были общие – на истоке Юхты и на Светленьком. Сашка, правда, пьяный разбился насмерть на машине три года назад, и в прошлом году на его участок заезжал москвич Жебровский. На вертолете залетал, и обратно вертушкой выдергивали – кучеряво, видно, по деньгам вышло.

Странный был этот Жебровский. Не бедный, весь мир объездил, а зачем-то взял участок. В этом году опять приехал, домик купил в порту и собирался на промысел. Генка пытался думать, что Жебровский так же, как и он сам, любит тайгу и охоту. И даже это вот промысловое одиночество. Трудно было такое представить: Жебровский, вроде и простой в общении, без понтов, промыслу учился внимательно и своим делился – Генка кое-какие

мелочи у него перенял, – а все же был другим. Слишком городским, что ли? С Трофимычем, например, намного проще было.

У Генки на участке одиннадцать зимовий стояли, и почти все по Юхте, на впадении в нее ключей и притоков. Между избушками километров по двенадцать-пятнадцать «буранные» путики<sup>4</sup> поделаны, но начинал Генка пешком. И «Буран» берег по малоснежью, и больше любил тихую охоту с собачками. Так, не торопясь, с работой поднимался он от зимовья к зимовью, открывал капканы, готовил рыбу на зиму, стрелял глухарей, рябчиков и куропаток на приманку, приводил избушки в порядок.

В семь утра, темно еще было, вышел. Собак взял, карабин и по холодку – руки и уши мерзли – двинул знакомым путиком над рекой. Шлось легко – за плечами котелок, банка тушенки, чай, сахар, запасные штаны и свитер да пяток капканов на всякий случай. Топор в петле на поясе. Генка, довольный, что рано вышел и впереди длинный день, посматривал в сторону речки, в темноте ее не видно было, только глуховато доносился шум осторожной осенней воды. Тропа, обходя прижим, забирала и забирала вверх.

Он переходил из базового зимовья в избушку на Секче. Шестнадцать километров было до места. Путик сначала тянулся берегом Юхты, километров через десять делал петлю вверх по ключу Нимат. Генка рассчитывал подняться в самые верховья ключа, посмотреть там зверя, а если ничего не будет, без тропы уже перевалить небольшой отрог и спускаться в избушку по соседней долинке. Часам к трем-четырем рассчитывал быть в зимовье. Собак он отпустил, решив, пусть уж будет как будет.

Приличный мороз, думал Генка, время от времени потирая зябнувший нос. Удивительная штука – зимой в минус сорок так не дерет, как сейчас. Путик выбрался на старинную якутскую тропу.

По Юхте, частично по его участку, раньше шла дорога в Якутию. Веками тут кочевали эвены с оленями, потом неумные казаки проложили свой путь, ища выход к океану. Много чего тут перетаскали. На восток шли – сплаваясь по Рыбной и Эльгыну, обратно в Якутию поднимались через Юдомское нагорье этим сухим путем по Юхте. Экспедиция Беринга, отыскивая границы Евразии, заносила с материка на океан всю оснастку для кораблей: веревки, якоря, пушки. По Эльгыну дорога была короче, но с двумя высокими перевалами.

Генка ревниво относился к этой тропе. Ему не нравилось, что по участку когда-то толпы бродили... Иногда даже казалось, что вот сейчас из-за поворота вывернется караван в двести-триста вьючных лошадей. И все это у тебя на участке. Или вообще настанут какие-то времена, и тут снова будут ходить и ездить кому не лень.

Последними, кто пользовался тропой, были пастухи, гонявшие летом оленей на якутскую сторону. Это было лет пятнадцать-двадцать назад, когда живы были колхозные оленеводческие бригады. С тех пор позаросло местами.

Генка спускался тропой к Юхте; на повороте был затесан столб с остатками зеленых цифр. Генка не раз уже рассматривал такие столбы: пытался представить, кто и в какие далекие времена спиливал живое дерево выше человеческого роста, чтобы и зимой видно было. И что это за краска, что до сих пор цела? Столбы обозначали почтовый тракт и стояли километров через десять. Еще довольно большие срубы, обрушенные уже, остались на месте таежных станков. На его участке их было три, горы старинных бутылок рядом валялись, изпод спирта, видно.

Работы по тропе было немало, и это Генку очень удивляло. Ему казалось, что если сейчас народ такой несознательный и шагу лишнего не ступит ради общего дела, то 250 лет

---

<sup>4</sup> Путик – тропа, вдоль которой охотник ставит капканы или ловушки.

назад человек и вообще должен был быть кое-какой. Генка остановился, прикидывая, как непросто было коваными топорами да ручными пилами рубить такой путь. Если человек десять, то не меньше недели должны были ворочать этот вот спуск к реке. Глаза натыкались на вековые лиственницы, помнящие те времена – нарты или сани, сползая на склонах, бились боком о дерево, из года в год оставляя следы.

И Генка, мечтавший иногда побывать недельку-другую в тех условиях, когда и соболя, и золота было голыми руками бери, задумывался настороженно. Припрягут дорогу делать или тащить чего-нибудь через перевалы... Но потом все равно соглашался – на недельку интересно было бы. Как тогда люди жили? Потерпел бы.

Дорога дальше переходила по перекасту на другой берег к Трофимычу. Два года дед не охотился. Сдал, согнувшись ходит, и глаза как зимняя вода... Прошлый год такой вот, крючком, а ползал, собирался... Но не заехал. Переволновался, видно, инфаркт выловил. В этом опять шмотки перетрясал, на заборе развешивал. Заходил несколько раз, по мелочам спрашивал, но понятно было: волнуется старик. Верка еще пошутила: куда ты, мол, Иван Трофимыч, околеешь где-нибудь. Лучше уж у дочки под боком. Все поухаживает... Дед невнимательно ее слушал, думал о чем-то, видно было, что он много об этом думал и ему неохота на эту тему разговаривать, но вдруг поднял голову на Генку, крючковатыми пальцами дотянулся до сигареты, дымящейся в Генкином рту, фильтр оторвал и бросил к печке. Ему после инфаркта строго-настрого запрещено было курить.

– Это, Верка, ничего было бы... – Дед затянулся, посмотрел на бычок. – Мне бы добраться туда. А околеть там это ничего. Лучше, чем тут поленом лежать. – Он замолчал, потом глянул на Генку блеснувшим глазом: – А может, я там выздоровлю? А, Генк? Ты же знаешь! Там болеть некогда!

И опять замолчал, осторожно затягиваясь сигаретой.

– В зимовье только неохота помереть. Человек, когда слабеет, всегда под крышу лезет. Придут, а там я... – равнодушное стариковское лицо чуть сморщилось, – херово так-то, если... а в тайге ничего – волки найдут, птицы растащат по участку... Это ничего... Мой же участок. Я там все знаю.

Через три часа Генка подошел к ключу Нимат. Поднялся до дерева, которое когда-то сам свалил через ручей. Лучше не было у Генки места. Всего три капкана ставил по ключу, а меньше, чем пять соболей, не ловилось на нем, а бывало и шестнадцать за сезон. Генка вытер пот, зашел в воду, дотянулся до капкана и стал его разрабатывать. Он любил так ставить: ронял лесину через незамерзающий ручей, стесывал сучья, если было слишком густо, чтобы зверьку была тропа, и в серединку ставил ловушку. Приманку привязывал с двух сторон. Зверек, попавшись, повисал на тросике над водой. Генка достал из рюкзака полиэтиленовый кулек, в котором несколько дней уже квасились рябчики, порубленные пополам. Запах был такой, что даже Чингиз отвернулся и отошел в сторону. Насторожил капкан и сел перекурить.

Ключ впадал в Юхту небольшим гáдыком<sup>5</sup>, густо с обеих сторон заросшим ольхой и тальниками. Отнерестившаяся рыба лежала на дне, припорошенная илом, вдоль другого берега совсем недавно, может и ночью, наследил мишка. Доставал, видно, аргыз. Не будет он его сейчас жрать, подумал Генка, ореха полно в стланиках. Он поднял сапоги, перебрел илистый гáдык и рассмотрел следы. Медведь был крупный и рыбу действительно не ел, только любопытствовал. Генка докурил сигарету, бросил бычок в воду и задумчиво посмотрел на небо, а потом в тайгу, куда ушел медведь.

---

<sup>5</sup> Гáдык – лесная протока, часто место нереста лососей, где они гибнут, разлагаются и гадко пахнут.

## 2

В то самое время, когда Генка вытягивал невод, полный рыбы, да щурился на мягкое осеннее солнышко, начальник районной милиции подполковник Александр Михайлович Тихий ехал берегом моря на «уазике» со своим замом майором Гнидюком. И поглядывал на то же самое солнышко. Александр Михайлович был высокий и толстый мужчина с небольшой уже одышкой, красноватыми, в синюю прожилочку, щеками. И чуть строгими, чуть хитрыми, но в целом спокойными глазами человека, который цену себе знает и почти не беспокоится по этому поводу. Толстые, крепкие руки легко держали тонкий обод руля и уверенно втыкали передачи.

Начальник милиции был человек незлой, вопросы решал не как положено, а по-свойски, то есть много чего мог простить, и в поселке к нему относились неплохо. Не он, впрочем, это придумал – оно в районе как-то само собой так испокон века сложилось, он же, за что, собственно, его и уважали, никаких новых порядков в своем большом хозяйстве не заводил и был до известных пределов простой. Мог по случаю и стакан опрокинуть с работягами и занюхать корочкой хлеба, а мог какому-нибудь наглому бичу за дело и оплеуху закатить... чем сажать-то. Он не был семи пядей во лбу и не был сильно жадным, а это неплохое сочетание для начальника.

Вот и сейчас Александр Михайлович мурлыкал что-то себе под нос, не обращая внимания на Гнидюка. Настроение у него было хорошее, а может, даже и очень хорошее, и он слегка волновался. И даже немного побаивался одному ему известной вещи.

Его переводили на материк замначальника УВД в небольшую южную область, вопрос, в какую именно, пока не был решен окончательно. Такая вот штука. Это было повышение, с еще одной звездочкой, полковник – это почти генерал, но главное – ответственности было сильно меньше. Он пребывал в том легком, вольном состоянии, когда местные застарелые вопросы, вообще все происходящее вокруг волнует уже не так сильно и мысли летят куда-то в новые приятные дали, с другой же стороны, эта же легкость, омывая привычную поселковую жизнь, заставляла грустно сжиматься сердце. Нравилась ему эта вольница, которой он как ни верти, а был хозяин.

Позавчера только проводил комиссию из Москвы. Все прошло, слава богу, на водопад слетали, с вертолета медведей погоняли из калашей, а попили так, что Тихий сам потом полдня отлеживался – чуть живые мужики поехали и, кажется, довольные. Девки только перешили в конце, вразнос пошли, ну это ладно, бывает, успокаивал себя Александр Михайлович и даже отчасти рад был – общие с начальством мужские грешки чаще всего на руку бывали. Приехали незнакомые совсем, а уезжали как свои парни. Телефоны, дружба, помощь в главке, туда-сюда...

Но волновался начальник милиции не по этому поводу. В свои пятьдесят два Тихий все ходил в холостяках. И теперь, понимая, что из поселка придется уезжать, – рулил на прииск забирать Машу. Уже три года они были вместе, и Тихий почти постоянно у нее ночевал, но не женился почему-то. Разговаривали, конечно, шуточками.

Вчера Александр Михалыч маялся до обеда в полупустой своей казенной квартире, капустный рассол пил и все думал. И на легкую на подвиги похмельную голову решил ехать за ней. И все! Рубашку белую достал, уют включил, ждал, пока нагреется, и воображал, что совсем не худо было бы, если бы она – молодая и красивая – была бы сейчас рядом. Рубашку ему гладила, а он смотрел бы на нее. И ему было бы приятно. На шестнадцать лет Маша была моложе. Это Александру Михалычу нравилось, и это же малость смущало.

От легкости настроения даже Гнидюка с собой взял. Тот, недавно присланный из области, навязывался в попутчики – на его место метил и наверняка хотел выяснить, что к чему.

Но скорее всего напрасно суетился. Место Александра Михалыча Тихого было предложено, а может, уже и продано где-то там в центре, в главке. Тихий знал это точно, место надо было освобождать, поэтому и его собственный перевод на материк обходился ему в копейки. Эти жирненькие, веселые и наглые парни из комиссии на самом деле прилетали прикинуть размеры бизнеса. Возможно, один из них и отдал денег за его место. Так теперь обстояли дела.

Дорога от моря повернула к сопкам и тянулась открытой тундрой с невысокими кустарниками. Озерки поблескивали на солнце, болотца рыжели и краснели мхами. Вскоре машина начала подниматься наискосок склоном сопки, негусто поросшим кривоватой лиственницей. Ветры с моря калечили деревца – изгибали замысловато, корежили в самые разные, никому не нужные формы. Александр Михайлович всегда об этом думал, кому, мол, это надо, чтобы такая вот листвяшка, рожденная стройненькой, превратилась в хвостатого гада с двумя головами...

Потом мысли его перескакивали на приятное, на Машу – он даже купил ей кольцо с прозрачным камешком, специально заказывал в городе. Коробочка чувствовалась острыми уголками в кармане кителя. Тихий улыбался довольно и посмеивался над собой – никогда он ничего такого ей не дарил. Да и вообще не дарил, как-то даже не думал об этом. Он жмурился весело, неожиданно делал губами громкое «ру-ру-ру», так что Гнидюк терялся, не знал, как реагировать, и только вертел большим и мягким крючковатым носом. Толстая двойная морщина-складка продолжала нос через лоб до самых корней волос. Из-за этой необычной морщины нос получался двойной длины и выглядел настоящим шнобелем, довесками к которому прилагались два глуповатых глаза и пухлые губы бабочкой. Александр Михайлович повернул на себя зеркало заднего вида – у него все было нормально: борозды морщин ломали лоб поперек.

Машина поднималась все выше и выше, и тундра и море открывались во все стороны. Было солнечно, море огромно синело за горизонтом и казалось теплым.

Не хотелось уезжать из этих мест, будь его воля, не поехал бы, даже в отставку подписался бы по здоровью. Но... в последние два-три года – черт его знает, как и вышло-то, Семихватский все со своими барыгами, – Тихий поднял прилично денег. Бизнес в районе пошел... то там то сям нужна была его поддержка... он, правда, и знать про нее особо не знал, и сам никуда не лез: всем рулил зам по оперативной работе капитан Семихватский. Вертелся и крышевал коммерсантов, давил непокорных. Тихий посмотрел на Гнидюка. Тот немедленно улыбнулся в ответ, так неприкрыто льстиво, что неприятно стало. Этого тоже не просто так сюда засунули. Со служебными квартирами химичил в области. Своих же товарищей обирал...

– Тормознемся покушать, Александр Михалыч? У меня жена собрала... – Гнидюк кивнул на большую сумку на заднем сиденье.

Тихий продолжал думать о нем и, видно, с каким-то особенным интересом смотрел. Потом очнулся.

– Это можно. – До прииска оставалось пять километров, и он сам думал тяпнуть для храбрости. – Сейчас к Столбам поднимемся.

Дорога выровнялась и пошла вдоль склона. Теперь море синело слева сквозь невысокие деревья. В сизой дымке чуть-чуть. Александр Михайлович, засмотревшись, чуть не проехал поворот. Затормозил, стал сдавать назад и увидел, что съезд на поляну под высокой скалой, где всегда выпивали, завален упавшей листвяшкой. Он заглушил мотор, улыбнулся чему-то и тяжело полез из машины. Гнидюк тоже выбрался и сунулся на заднее сиденье за своей сумкой.

Александр Михалыч видел, что нагло поперек оставляет машину, да и опасно – скальный поворот недалеко, но тут же и бросил эту мысль: по этой дороге ездили раз в неделю. Он потянулся, разминая затекшие плечи и ляжки. Почему-то хотелось показать

Гнидюку, что он тут вполне хозяин и никого особенно не стесняется, может и машину, как ему нравится, оставить, но соображение это было случайное, не особенно Тихому свойственное. Щурясь на море и солнце, он думал о своей подруге, почти жене, что она совсем уже рядом и что ей нравилось, когда он бывал слегка выпивши. И ему тоже нравилось, когда он бывал с ней слегка выпивши.

Тихий открыл дверцу багажника и, сняв китель и галстук, прямо на белую рубашку надел ватник. Прихватил на одну пуговицу на пузе и достал из кармана граненый стакан. С таким спокойным и серьезным лицом достал, как будто во всех ватниках в правом кармане обязательно есть стакан.

– Чего ты там? – Тихий снисходительно наблюдал за Гнидюком, который в одной руке держал тяжелую сумку с продуктами, а другой пытался вытащить какой-то неловкий чехол с заднего сиденья. Из чехла вылезли алюминиевые трубки и встали враспор.

– Стол со стульями взял... – кряхтел, беспомощно озираясь, Гнидюк.

– Да ладно... Вон другую фуфайку бери...

– Ну, – обрадовался майор, бросил чехол и стал обходить машину. – Где сядем, Александр Михайлович?

Тихий с Гнидюком не раз уже выпивали, но все в компаниях, и теперь подполковник ясно видел, что Гнидюк в этом вопросе так себе. Может, и не запойный, но слегка уже алкаш. Сейчас ему так хотелось выпить, что ничего вокруг не видел. Это было неправильно. Васька Семихватский, тот бы картину выдержал – полежал, на небо, на тундру поглядел бы, на начальника своего глянул, как на отца родного... Тихий раскинул на сухую траву длиннополый караульный тулуп, много лет служащий для таких целей, улегся на край, подперев локтем толстую щеку, наблюдал, как майор раскладывал закусь.

Анатолий Семенович разлил водку. Накрыто было не по-поселковому. Все завернуто в фольгу – какие-то совсем маленькие румяные пирожки, чим-ча корейская, огурцы малосольные, гребешок под майонезом, ни привычной жареной или копченой рыбы, ни мяса вареного, – рукастая, видать, баба, аккуратная, подумал Тихий про жену майора, а на самом деле про Машу, что Маша готовит лучше. И взялся за свой стакан, налитый до половины. Это была его доза.

– Ну, давай!

Тихий неторопливо, с удовольствием выпил, как пьют воду в жару, выдохнул неспешно и прислушался к себе. Он вообще не понимал, как люди могут пить рюмками – не слышно же ничего. Вот сейчас он отлично все ощущал: и как она падала полновесным водопадом, и как теперь уверенно поднимается вместе с теплом и настроением. Он снисходительно и даже с жалостью посмотрел на Гнидюка, жующего полным ртом.

– Что за водка? – спросил просто так.

– Питерская, ребята из города передают с самолетом. Не могу местную пить, паленой много! Может, и вся паленая, спирт-то тогда в цистернах... технический был...

Тихий махнул рукой, останавливая: знаю, мол.

– Водку, кстати, можно бы и пароходами... У меня в городе коммерсанты знакомые предлагали поставить сколько надо. Двадцать пять процентов готовы откатывать, если остальные каналы перекроем... – пояснил Гнидюк.

Тихий не стал ничего спрашивать. Не его это было дело. Васька Семихватский пару раз в месяц приносил в конверте – с уваженьцем, от благодарных коммерсов, ухмылялся. Тихий шуток этих не принимал, а спрятав конверт, морщился, супил брови на озабоченном лице, тер кулаком стол и начинал говорить о чем-нибудь постороннем. И вскоре уже злился на Ваську, что что-то не сделано. Васька все это хорошо знал и либо молча и нагло поглядывал на начальника, либо просто уходил, говоря, что ему некогда. После этих конвер-

тов Тихий поначалу плохо спал, прятал их и перепрятывал, два таких конверта с баксами по пьяному делу в печке сгорели, но постепенно привык.

Человек к приятному быстро привыкает.

Степан Кобяков на полном газу давил на вездеходе с прииска – деревья мелькали, камни летели из-под гусениц, на поворотах не вписывался и мял кустарник. Степан возил продать икру, но приисковые предложили полцены. Он постоял, глядя себе под ноги, потом молча залез в кабину, газанул, разворачиваясь на месте так, что аккуратный иностранный вагончик завхоза затрясло и заволокло синим дымом.

Степан хоть и пошел красными пятнами по загорелым щекам, а все же ехал не особенно раздраженный – у приисковых были свои резоны. Свинские, конечно, потому что в городе, куда у них почти каждый день летал свой борт, икра стоила в два раза дороже, чем он отдавал, но таких, как Степан, было полпоселка и многие наверняка сбрасывали цену еще ниже. И он бы сбросил, но этот завхоз с двойным подбородком совсем уж нагло улыбался, глядя в красные от усталости и пыли Степановы глаза. Понимал, видно, – если этот мужик, рискуя, пойдёт в такую даль икру, то вряд ли повезет ее обратно. С Кобяковым, ни разу в жизни не нажившимся на чужом труде, так нельзя было. Про деньги, законную долю барыг, он, скрепя сердце, признавал, но таких вот, которые еще и приподняться над тобой пытаются, не любил.

Был и еще повод для досады: он давно уже должен был заехать на охоту, а все не получалось, и главной помехой была как раз непроданная икра. Он придавил рычаги, вездеход захлебнулся воем, сильнее загредел железом и запрыгал по колеям и ямам.

Икру он вывез из тайника с речки, целые сутки, почти без сна, давил двести километров по тайге и теперь, ни о чем не думая от усталости, ехал напрямик в поселок. Там ее легко можно было устроить, менты брали свои двадцать процентов, и делай что хочешь, но Кобяков даже не смотрел в их сторону – с ментами он дел не имел. Гаишникам права показывал, а если те начинали выёживаться, бросал ключи на сиденье и уходил пешком. Гаишники, их на весь район было четыре человека, об этом знали и не останавливали.

Дорога расходилась. Новая, пробитая золотарями, спускалась в тундру, пересекала ее и шла берегом моря, старая сворачивала на склон сопки. Кобяков на секунду задумался и выбрал старую – так было короче.

Когда тягач с лязганьем и скрежетом вывалился из-за скалы, Тихий с Гнидюком, выпив и закусив, раскрасневшиеся и довольные, садились в «уазик»... Гнидюк со своей стороны машины что-то громко рассказывал и сам же смеялся, и Тихий первым сначала услышал, но тут же и увидел тягач. Он замер у дверцы, только рука, успевшая схватиться за руль, машинально сжалась, не зная, куда деваться. Гнидюк с неожиданной прытью отскочил в кусты. Одна фуражка осталась на дороге.

У самого бампера «уазика» замер вездеход. Заюзил вперед и боком по грязи, клюнул сильно вперед, с лязганьем осел и заглох. Степан ударился плечом, чуть не высадил башкой боковое стекло, отер кровь с вздувшейся на лбу шишки и нашарил замок зажигания. Он только теперь понял, что не проехать было, но недовольства не показал, а завелся и стал сдавать назад. И тут Гнидюк выскочил из кустов, матерясь много и суетливо, на ходу подбирая шапку с земли... кобуру расстегивал зачем-то.

– Как... посмел?! Кто такой?! – Майор, не очень, видно, понимая, что орет, прямо из штанов выпрыгивал.

Кобяков, отъехав, остановился, хмуро глядя на начальников. Тихий узнал его и стал садиться за руль, чтобы уступить дорогу. Гнидюк же, поняв, что водитель испугался, чуть не сбив начальника милиции, схватился за рукоятку дверцы. Лица Степанова он не видел из-за бликов на стекле. Дверца не поддавалась, наконец распахнул ее.

Степан смотрел на него прямо и не мигая, и Гнидюк потерялся. Немного таких неласковых взглядов встречал он в своей жизни.

– Чего везешь? – само собой выскочило у него изо рта, а пистолет, застрявший было на полпути, вылез наружу. И это, как потом вспоминал Тихий, была его первая ошибка.

И может быть, все как-нибудь и рассосалось, если бы Гнидюк совсем уж не наступил на грабли. Боясь смотреть в глаза Степану, он отступил пару шагов, неожиданно ловко заскочил на гусеницу и стал задира́ть тент с ящиков, привязанных за кабиной. Так в поселке никто бы не сделал, ни один самый последний мент.

Кобяков понял, что это обыск... и в мозгу вспыхнули кривые, нервные усмешечки Васьки Семихватского, что они все равно его накроют. Кровь ударила Степану в голову.

– Иди отсюда, падло! – Голос Кобякова только казался спокойным. В руках с громким и страшным щелчком соскочил с предохранителя короткий кавалерийский карабин.

В это время Тихий, не ждавший ничего такого, спокойно сел за руль, нащупывал ключ по карманам... Но тут увидел Гнидюка, поднимавшего вверх руки с «макаровым» над головой, потом Кобяка, вставшего из люка тягача с карабином в руках... Он подумал, не выйти ли, но сначала решил отъехать. И только когда увидел, что Гнидюк, трусливо наклонившись, бросил пистолет себе под ноги, вывалился из «уазика» и двинулся к вездеходу.

– Кобяк, что такое? – Александр Михайлович по привычке строго сдвинул брови, не собираясь особенно качать права.

– И ты давай! – Глаза у Кобяка были совсем нехорошие. Небритые щеки – в неровных бурых пятнах...

– Ты что, сука, ты... – Лицо подполковника начало багроветь. Нижняя челюсть полезла вперед, как у бульдога.

Пуля взорвалась у ног начальника милиции, обдав грязью его большую фигуру. По лицу поползли серые капли, а белая парадная рубашка взялась мелкой крапункой. Гром выстрела вольно летел по тайге.

– Бросай! – Ствол карабина поднялся в грудь начальнику.

Тихий, так ничего и не поняв, нахмурился, выдернул «макарова» из кобуры и бросил. Подумал еще, что все равно незаряженный.

Два вороненых табельных пистолета лежали в луже. Лицо Тихого было хмурое, грязное и слегка растерянное, он забыл уже, когда бывал в таких ситуациях, может, и никогда. Гнидюк развел и приподнял руки, вжал голову в плечи и медленно пятился за спину начальника.

Кобяков, не глядя на ментов, опустился в люк, бросил карабин на сиденье и надавил на рычаги. Танкетка взревела, пустила синюю вонючую струю. Сначала левая гусеница смачно вдавила «макаровых» в грязь, а потом тонны могучего железа ударили в радиатор «уазика». Мотор взревел. «Уазик», освобождая дорогу, заскользил боком и покатился по грязи к обочине, уперся на секунду в тонкую листовку, сломал ее и неторопливо завалился по кустам жимолости на склон сопки, круша нетолстые деревья. То колеса растерянно взлетали, то синяя покореженная крыша.

Вездеход, вильнув задом, выправился на дорогу, взревел и скрылся за поворотом. Вскоре и звуков его не стало слышно.

Тихий с серым лицом сидел на поваленной лиственнице, из-за которой все и случилось, и старался не смотреть на Гнидюка. Таблетку зачем-то достал, хотя ничего не болело. Скулы сводило от злости. Наконец не выдержал:

– Ты, сука, куда полез? – прорычал сквозь таблетку, потом и вовсе ее выплюнул и поднял тяжелый взгляд на майора.

Тот, совсем ничего не понимая из случившегося, напряженно выковыривал корявой сухой веткой «макаровых». Всем видом показывая, как они глубоко ушли в грязь и как ему трудно.

– А?!! – рявкнул Тихий, и Гнидюк, невольно отшатнувшись, встал.

Сука, какой же трус, – с отвращением отвернулся Тихий. Как до майора дослужился? Он прямо не мог смотреть в его сторону, куда с большим бы удовольствием он на Кобяка сейчас посмотрел. Покалякали бы... Тихий ярился на Кобяка так, что кулаки сами собой сжимались и ему очень хотелось бы его догнать... но и кто во всей этой чушне виноват, тоже было абсолютно ясно. И он невольно оказывался на стороне мужика, которого готов был разорвать. И которого теперь надо будет наказывать.

– Я, товарищ подполковник, я этого козла из-под земли достану... – Гнидюк пытался изображать крутого, грязь с ветки текла на сапоги. Он был бы совсем жалок, просто жалок, и все, если бы не странная, мелкая и глупая подлость, прятавшаяся в глубине глаз.

– Я...я... головка от руля! Ты что к нему полез? – Тихий редко бывал таким злым. Он встал, от полного недоумения качая головой, и пошел к краю дороги.

Машина лежала метрах в десяти всего, уткнувшись в дерево и кверху колесами. Достать несложно. Тросом зацепить...

Дело надо было замять, Кобяка найти и разобраться. Машину восстановит... никуда не денется... Он твердо и быстро, почти машинально все это решил, осталось только этому толстожопому герою сказать, чтоб молчал, да говорить не хотелось.

Тихий исподлобья наблюдал, как Гнидюк тащит по грязи пистолет, зацепив за конец ветки, похлопал себя по карманам. Телефон остался в машине. Только коробочка с кольцом нащупалась. Он открыл было рот, чтобы послать майора вниз, как услышал шум мотора, и тут же из-за кустов и скалы выкатилась вахтовка.

– Про Кобяка молчи! Я не справился, пьяный... – сказал жестко, не глядя на майора, и решительно направился навстречу машине.

Вахтовка остановилась. Водитель высунулся из окна. Тихий хотел сначала развернуть их и ехать на прииск, но пока шел, передумал и решил вернуться в поселок. Водитель смотрел не на него, а на Гнидюка. Тихий обернулся. Гнидюк у всех на глазах достал второго «макарова» и тряс обоими на вытянутых руках, стараясь не забрызгаться. Дверь с другой стороны открылась, из машины вышел завхоз прииска.

– Что случилось, товарищ подполковник? – Завхоз шел по следам вездехода, поднял разбитую фару от «уазика» и с удивлением посмотрел на Тихого. – С этим мужиком, что ли, столкнулись? А он-то где?

Кобяков, сбросив «уазик», гнал в поселок. Лицо было привычно спокойно, потемнело только, да глаза сузились, кровь же бурлила так, что руки на рычагах не держались. Он не думал о последствиях, о том, как все будет... Ему надо было в тайгу на охоту. Сдать побыстрому кому-нибудь икру, закидать в вездеход давно готовые шмотки и рвать на участок. Он так этого хотел, что на время совсем забывал про случившееся, и ему представлялось, как он на легких осенних лыжах бежит по свежему снежку утречком... и собаки на два голоса орут впереди за ключом.

Подъезжая к поселку – три моста уже проехал, – Степан как будто приходил в себя. Тихий был главным в районе, и просто так это дело не сошло бы. Нет-нет, а холодок страха по спине пробегал, что они испортят ему охоту. Он чувствовал себя предателем своего промыслового участка, ждавшего его работы, собак, вообще предателем всей тайги, речек и ручьев, что он любил больше самого себя. Душа расплзалась на куски. Степан скрежетал зубами, материл себя, хмурился и спрашивал у Господа, почему он не удержал его. Ментам уступить не надо было, но «уазик» зачем пихнул...

Не доезжая поселка, свернул по протоке и, разбрасывая воду и речную гальку на меляках, рванул в сторону моря. Остановился у Старого моста. Здесь сходились две протоки и было глубоко, он аккуратно сдал задом в воду. Прошел по гусенице в будку. Та была полная. Тридцать восемь новеньких контейнеров по двадцать пять килограммов. Хорошая икра. Кижучовая и нярочья<sup>6</sup>. Степан ничего не делал плохо. Вся через три грохотки пропущена. Красной смородиной просвечивались бока тяжелых белых контейнеров. С хлопаньем и брызгами уходили они на дно один за другим. Жалко не было. Он никогда не жалел ни себя, ни своего труда. Злость брала, что кто-то может в это дело лезть.

Вспоминал, как в июне Семихватский сам приезжал и предлагал хороший участок для икропора. Недалеко от поселка. Это был действительно хороший участок. Такса за крышу была хорошо известна, но Степан уточнил. У него тогда глаз задергался.

– Я тебе буду отдавать? – спросил Ваську угрюмо.

– Чего?

– Двадцать процентов?

– Ты чего? – нахмурился Семихватский.

Два мужика смотрели друг на друга. Кобяков стоял с топором в руках, в дверях сарая – только насадил новое самоструганое топорище, капитан – фактический хозяин всей икры, да и всего бизнеса в районе – был в грязных сапогах, ментовских штанах и цветастенькой рубашке с коротким рукавом. Кобяков был старше на десять лет и по привычке смотрел на Ваську как на молодого и неумного:

– На месте твоего батьки отхерачить бы по локоть эти твои трудовые... – сказал спокойно.

Васька пристально и безбоязненно рассмотрел Кобяка, бросил травинку, что жевал, и, молча повернувшись, пошел к калитке. Он ждал такого исхода, шел с лучшим участком, но получилось как получилось. Было в поселке несколько таких, которые портили общую картину, и не давали Ваське покоя. Он и хотел, и добивался от них повиновения своим правилам, но и где-то в глубине уважал. Как раз за то, что они не повиновались. Он, родившийся здесь при других понятиях о жизни, чувствовал, что не хочет, чтобы все сдались. Что в этой упертости есть что-то такое, что отличает серьезных поселковых мужиков от остального мира. Его собственный отец был среди непокорных.

Хмурясь на эти нестыковки, капитан шагал широкой пыльной улицей мимо одноэтажных обшарпанных бетонных домов с редкими однобокими лиственницами, чуть поднимающимися над крышами, машинально кивал на приветствия молодых, стариков, которых знал, называл по имени-отчеству...

Летом он вполне мог накрыть Кобяка, но не трогал. Он отлично знал, что мимо них он эту икру не провезет. На материк было только две дороги – морем или воздухом. И обе вели через поселок, то есть через него.

Степан захлопнул борт; танкетка стояла боком в реке, выхлоп глухо бурлил в воду, всплывал и стелился по поверхности белым дымом. Тихо было в природе, река шелестела мимо, да большие морские чайки на галечном островке то затихали, то сразу все принимались что-то выяснять. Степан глянул на засыпные быки Старого моста, на их сгнившие, наполовину размытые срубы, наполненные когда-то речной галькой и заросшие уже тальниками. Он с мужиками лет тридцать назад делал этот мост. Васьки Семихватского отец на бульдозере тогда работал... Когда же такие вот труженики в погонах появились в их краях?

---

<sup>6</sup> Кижуч и нерка – разновидности лососей.

Во дворе загнал тягач за баню, взял шмотки, оружие, не без сожаления оглядел кабину безотказного своего вездехода – семь последних лет заезжал он на нем на участок. Жена, Нина, сразу поняла, что что-то не так. Его не было полтора месяца, но даже и не взглянул. Не спрашивая ни о чем, помогала молча. Степан ходил по сараю между подготовленными ящиками с продуктами и снаряжением. Рюкзак собирал. Вниз зимние вещи сложил. Тушенки взял, патроны. Лицо было совершенно спокойным. Даже жену мимоходом обнял пониже талии, от чего она вздрогнула и крепко схватила его за руку.

– Если кто там чего... тебе или девчонкам... Скажи... Степан шкуру с живого снимет. Так и скажи. – Он сел на стул и стал наматывать портянки.

– Деньги, дрова есть. Ничего. Я буду появляться.

– Что случилось, Степа?

– Не знаю. Пусть они сами решают, что случилось, а я пока подожду.

Грубыми, толстопалыми руками обнял Нину, стиснул неловко, не глядя в глаза, чтобы она ничего в них не прочла, и вышел за дверь. Собаки, визжа, рвались с цепей. Степан наклонился к молодому Чернышу, но, подумав о чем-то, посмотрел на него, прижавшегося к ногам, отпихнул и отвязал старого. Карам рванул к тягачу и заплясал у двери. Степан, не обращая на него внимания, прошел огородом, зацепившись рюкзаком, пролез в дыру и исчез в лесу. Следом мелькнули задние лапы собаки.

### 3

Генка забрался в самые верховья Секчи. Места тут были неперспективные по соболю: полно каменных россыпей, куда надежно уходили зверьки, а кроме того, по верховьям ключей соболюшки делали гнезда, и Генка в таких местах капканов не ставил. Он поднимался выше зоны леса – поискать сохатых или северных оленей. Последние очень любили эти укромные, закрытые от северных ветров склоны.

Он еще не выбрался на грань леса, откуда можно было осмотреться в бинокль, и шел крутоватым склоном над ручьем, время от времени поглядывая вперед, сквозь редкие уже и невысокие листвяшки. В рюкзаке приятной тяжестью болталась пара котов, и он думал, что, если сработают третьего, надо будет ободрать всех, а то уже тяжело тащить. Он всегда так делал.

Присел на камень вытряхнуть сапог. Была уже середина дня, солнце низко висело где-то за горой, и в тени подмораживало. Генка поглубже натянул лыжную шапочку, подтянул молнию куртки и стал перематывать портянки.

Юхта внизу казалась темной ленточкой, обвивающей большие камни в русле. Гальники по берегам, щетина листвяка на склонах – все облетело и осыпалось. Даже сейчас под солнечным небом было непривычное ощущение чего-то голого, неодетого и растерянного. Лес, скалы, осыпи, косматые стланики – все ждало снега. И Генка с собаками тоже ждал. Тогда бы все ожило и заговорило: прямыми лисьими строчками, волчьими нарысками по берегу в поисках аргыза, тяжелыми лосиными и оленьими вмятинами и до наглости уверенными в себе несоразмерно крупными соболиными двойчатками.

Чингиз сидел рядом и глядел на далекую речку. И тоже, наверное, вспоминал их удачи и промахи там, внизу. Айки не было. Не доев тушенку, Генка ковырнул ее ножом, чтобы отстала от дна, и поставил Чингизу. Тот, благодарно махнув хвостом, аккуратно, как башку соболя, взял банку в пасть и, вежливо отойдя в сторону, стал есть.

И тут азартно, по-взрослому заревела Айка. Где-то на склоне выше их скал и в другую сторону увала заорала – эхом неся лай по горам. Чингиз, бросив банку, уже мелькал в стланиках.

Генка, задыхаясь, спешил к собакам, где можно, обегая заросли, где-то продираясь сквозь них, и с досадой думал, что это, скорее всего, самка. Он не охотился на верхах, где мамы выкармливали молодняк. Даже в худые годы, когда соболя было мало или он плохо ловился, не делал этого... А тут собаки сработали.

Соблазн все же велик был: в первый день охоты соболя нельзя было упускать – весь сезон дырявый будет, но и самка, да еще в гнезде, – тоже не лучший знак, видно. Генка бежал и просил кого-то, кого он всегда просил, чтобы это оказался молодой кот. Молодняк мог еще держаться недалеко от матери.

Генка не знал этого места. Соболю сидел в камнях, в небольшом острове куру́мника<sup>7</sup>, крепко заросшем пушистым кедровым стлаником. Генка осмотрелся, обошел кругом, ища выходы. Их, похоже, не было. Это было гнездо. Лаз хорошо спрятан кривыми стволами, никогда не увидишь, если бы не собаки. Он встал на карачки и, оттолкнув Чингиза, протиснулся под стволами. Соболю урчал и кидался где-то в глубине, вокруг входа валялись перья куропадок, заячьи кости, помет. Айка, выходя из себя, копала сбоку под камень. Ей было

---

<sup>7</sup> Куру́м, или куру́мник, – россыпь крупных камней. Обычно на склоне, часто в виде каменной реки или каменного потока. Бывают и каменные озера.

неудобно, стланик мешал, она взывала от отчаяния, что Генка первый доберется до зверька, который так пах, что ей казалось – он уже у нее в пасти.

Хорошая собачка может выйти. Генка вылез, отряхнулся и посмотрел на Чингиза. Тот тоже бегал героем, шерсть на загривке торчала.

Генка еще раз обошел, прислушиваясь, что делается под камнями, потом сел рядом с лазом и терпеливо закурил. Нельзя было портить гнездо. Чингиз подбежал к Айке, сунул нос в лаз между камней и посмотрел на хозяина.

– Не будем трогать, она в следующем году опять принесет. А эта пусть покопает, она нашла... Айка, – позвал, собираясь похвалить-погладить.

Сучка не обратила внимания, выбралась из-под куста и побежала вокруг курумника с утробным лаем-воем.

Генка встал, отряхиваясь, взял карабин на плечо и пошел прочь. Странное было дело. Эту вот жизнь в тайге он с годами любил все больше, а азарт терял. Не то чтобы азарт, но то, что раньше было. Он это точно знал за собой. Жадным никогда не слыл, но когда удавалось добыть больше других, а такое случалось часто, ходил довольный. Бывало, и хвастался по пьяни. Десять лет назад он, скорее всего, вырубил бы стланик у лаза и запалил дымарь. Самка – не самка, раз уж собаки нашли – соболь, не хухры-мухры, за иным три дня ноги колотишь. А теперь вот – нет. И не то чтоб жалко было, но какое-то уважение пробрало к этой соболушке. Хорошо, хитро все устроила, не раз, видно, здесь котилась. Нельзя было разорять.

Спускался вдоль Маймакана. Звериная тропа, вместе с ключом петляя листовничным лесом, неторопливо падала к Секче, а там по речке и до зимовья было недалеко. Генка не помнил, чтобы он здесь чего-то добывал. Соболь, правда, неплохо ловился в устье ручья, но ни сохатых, ни оленей ни разу не встречал. Хотя по ключу было несколько хороших марей, и он в первые годы сюда регулярно заглядывал. Проверял, но... бывает такое: пустое вроде, невзрачное место, а фартовое – все время чего-то встретишь! А бывает как здесь: мари красивые, как раз на выстрел, скрадывать легко, а хрен...

На самой большой мари тоже ничего не было. Отдельный колок молодых, желтых еще листвяшек, замерших в середине, тянул длинную, молчаливую тень по скучно притихшим облетевшим ерникам. Дятел в колке сыпал однообразную дробь, она глохла в окружающей пустоте, вязла в низких кустарниках. Как заговоренная, подумал Генка. Он недолго любил эту марь за ее вечный обман, хотя и всегда сворачивал, когда случался рядом.

Собаки догнали. Сначала бежали рядом, потом опять рассосались. Тропа была крепко замерзшей, и Генка шел под горку, устало бросая ноги. Весь сегодняшний день он строил в расчете на зверя – хотел запастись мясом. И пока поднимался по ключу Нимат, и в верховьях, где почти всегда добывал, все ждал... но ничего. Здесь же, ниже по ручью, шансов почти не было.

Генка недолго любил этот беспутый час, когда день уже переломился, но вечер еще не наступил как следует...

Айка звонко, слегка по-щенячьи, как со страху, взвизгнула впереди и тут же заорала. Генка остановился. Чингиз вроде тоже взбрехнул и замолчал, а сучка работала азартно и зло. По ручью росли старые тополя, лес был проглядный. Он проверил планку прицела и двинулся осторожно, всматриваясь вперед.

Лай приближался. Генка, слегка удивляясь такому неожиданному фарту, встал за тополь. На другом склоне ручья раздался треск, среди тополей и невысоких тальничков мелькали серо-коричневые тени. Быстро приближались. Это был северный олень с двумя матухами.

Генка напустил совсем близко, выцелил грудь передней и надавил спуск. Оленуха ткнулась в землю. Другая встала как вкопанная, а бык развернулся, опустил рога к земле

и кинулся на Айку. Генка быстро выстрелил еще два раза, и рогач, пробежав несколько метров, завалился набок. Потом упала и вторая матка. Она держала голову и пыталась встать, ногами гребла... Чингиз бегал вокруг, не приближаясь; Айка же сначала опасливо рванула несколько раз за спину, потом осмелела, забежала спереди и вцепилась в горло, давя к земле.

Генка подошел, добил оленуху и с любопытством посмотрел на свою сучонку. В поселке она была опасливой, а тут... Присел на корточки.

– Эй! – позвал.

Айка одним глазом косилась на зверя, другим – на Генку. Шерсть стояла дыбом. Генка протянул руку и тут же инстинктивно отдернул – в его сторону метнулись белые собачьи зубы.

– Ты что, дура такая, – рассмеялся.

Айка пришла в себя, обернулась на голос хозяина, виновато приложила уши и тут же посунулась обратно к оленухе. Генка, довольный, облапил ее одной рукой, другой повернул мордой к себе.

– Да ты у меня хорошая, видать, собачка, – потрепал.

Этих оленей, которые очень нужны были, он получил за нетронутую соболюшку. Это было точно. Много-много раз так бывало. Сделаешь по уму – получишь! Поленишься, а того хуже, нагадишь – пиши пропало.

Большую часть дел в тайге Генка выполнял не задумываясь. Деда, прадеды и еще дальше – все так делали. И он выполнял то, что надо, не размышляя, правильно ли оно так, а может, надо как-то по-другому, как выгоднее, например. Он не тратил времени на соблазны, на обдумывание каждого своего шага и так избегал суеты. Дело делалось размеренно, как будто само по себе, и оставалось время обдумать то, что действительно требовало размышлений. Вот сегодня... наверное, он делал все по уму, и ему дали возможность добыть зверей. Грех было не попользоваться.

Так думал Генка, наводя нож и высматривая три растущие рядом дерева. Под биркан<sup>8</sup>. Мясо надо было поднимать с земли и лабазить, чтобы по снегу на «Буране» вывезти.

Вечером в зимовье Генка подсушивал шкурки соболей на пятаках. мех уже был выходной, и Генка понимал, что зима рядом, вот-вот поперет, повалит. Грудинка оленья булькотила в котле, сам он покуривал, блаженно жмурясь от хорошего начала охоты. Получалось, не зря так рано заехал.

Некоторые только собираются, видно...

---

<sup>8</sup> Биркан – временный лабаз от зверья. К деревьям на высоте роста привязывают две поперечины. На них стелют сучья и кладут мясо.

## 4

И точно... на другой день, километрах в двухстах от зимовья Гены Милютинина совсем другой охотник, не проснувшись еще толком, сел в кровати. Пошарил по привычке ногой по полу. Тапочек не было. Как и вообще мало чего было в этом недавно купленном домике на краю вытянувшегося вдоль морской косы поселка. Сняв задники, сунул ноги в кроссовки, встал, потянулся, подумал мельком, что спал всего три часа, и пошел умываться. Полшестого уже было, мужики могли вот-вот объявиться.

Москвич Илья Жебровский только заезжал на участок. Вчера до трех ночи сверял аккуратные, распечатанные на компьютере списки, что в каком ящике лежит и какой ящик в какое зимовье идет. Вычеркивал что-то, дописывал, глядел внимательно внутрь последнего алюминевого ящика, куда он укладывал самые ценные вещи. Всего ящиков было шесть, они были прочные, хорошо увязывались в нартах. Жебровский целую неделю так собирался, а больше волновался, воображая себя в тайге.

Он и теперь волновался и приятно, но уже и нервно, как волнуются люди, ожидая чего-то очень важного в жизни, не дочистил толком зубы, сполоснул рот и, накинув куртку, вышел во двор. Впереди в пятидесяти шагах чуть слышно мелкой волной поплескивался лиман. Само же море, будто замедленное темнотой, глухо накатывало на берег с другой стороны косы. Илья прислушался: не гудит ли с вечера загруженная машина, на которой дядь Саша уехал ночевать к себе домой.

Тихо было в мире и отчего-то, может, от этого ледяного моря за домом, слегка тревожно. Там, в горах, на его участке в этот предрассветный час было еще тише. И спокойнее. Там все зависело от него. Сердце опять заколотилось радостным страхом, Илья нахмурился, заставляя себя уняться, откинул тент. Все было на месте. 120-сильная «Ямаха» посверкивала в свете фонаря новенькими черными боками. Нарты были тоже новые, оранжевые, в четырех местах со свежими язвами сварки. Колька Поваренок уголок подваривал для прочности.

В прошлом году кое-какое снаряжение у него было не очень удачным. И вот теперь Илья хорошо все продумал, и ему не терпелось в тайгу. Он хмурился, отгоняя мысли об охоте, но они все равно лезли и владели им, и он заставлял себя стоящим среди комнаты с ведром воды в руках и улыбающимся в далекое, залитое солнцем, заснеженное пространство гор.

Жебровскому было сорок восемь. Невысокий, сутулый, смуглолицый и кареглазый, с небольшими редкими усиками. Илья внешне не был сильным, но внутренняя крепость или даже жесткость, ощущалась довольно ясно. Для промыслового, впрочем, охотника он выглядел слишком интеллигентно. Любой сразу бы сказал, что он не местный. Глядел спокойно, чуть изучающе, говорил мало и по делу, и, только выпив, мог не сдержаться и заговорить неожиданно эмоционально, что и выдавало внутреннее напряжение.

Он был вполне состоявшийся мужчина, в том смысле, что у него было много всего. Этот вот домик на берегу Охотского моря. Два его почти совсем взрослых сына пятый год учились в Англии, по-русски говорили с легким акцентом и жили в его большом доме в предместье Лондона. В Москве на Гоголевском бульваре жила жена Ильи. Был еще приличный подмосковный дом, где сейчас, кроме прислуги – жена не любила загорода, – никого не было. Все эти квартиры, дома и дорогие машины он заработал более-менее честно, и его благополучию многие завидовали.

Но иногда жизнь ставит перед людьми странные, нелепые как будто вопросы. Не перед всеми, конечно...

До поры бизнес очень увлекал Илью – у него был свой банк средней руки – и все шло неплохо, и жить было интересно, но с какого-то времени он очень ясно, прямо физически начал ощущать, что чем больше у него становится денег, тем меньше остается жизни. Менять жизнь на деньги было как минимум неумно, особенно когда денег достаточно... Для чего достаточно, Илья не знал, возможно, это и было главной проблемой. В его окружении этого не знал никто, только улыбались снисходительно на его нелепые вопросы, безо всякого желания понять, или пускались в отвлеченные умствования, что примерно то же самое...

Говорят же, что думать вредно, так оно и есть, видно. Весной прошлого года Жебровский продал весь бизнес. Не особо выгадывая, недорого и вообще не придавая этому значения. Лето провел довольно безалаберно, следуя сиюминутным, иногда довольно мелким желаниям и не особо понимая, что делать с собственной свободой. Так птичка, выпущенная из клетки в большой комнате, кружится растерянно, перелетает с места на место, то вдруг засвистит от радости, а то замрет, совершенно не понимая, что это все значит и как быть. Временами Илье совершенно ясно казалось, что напрасно он все это затеял, но и обратного пути уже не было. Это тоже было понятно.

Он решил ехать на большое сафари в Танзанию, где бывал не раз, купил самый дорогой тур на полтора месяца и начал уже собираться, как случайно, на дне рождения приятеля, зашел разговор о соболином промысле в зимней тайге. Жебровский вернулся домой, просидел несколько дней в Интернете и ясно почувствовал, что очень хочет. Без *Professional hunter*<sup>9</sup>, без черных следопытов, прислуги и повара... Один, в минус двадцать-тридцать-сорок... Так он оказался на Дальнем Востоке.

Не было никого, кто бы его понял. Людям, даже и близким, не очень свойственно глубоко задумываться над жизнью другого человека. Даже товарищи по элитному охотничьему клубу в сомнениях кривили лица, все решили, что временная прихоть – как можно бросить здесь все, ради чего, в конце концов, и работал? Он и сам не исключал такого, но вот прошел год, и Илья опять был здесь.

Одиночество в тайге – крепкая отравка, однажды ее хлебнувший, если он чего стоит, не может уже отказаться, а отказавшись поневоле, страдает, как о невозможной, невосполнимой потере в жизни. По сути, это, конечно же, была городская блажь, но в тайге и один Илья чувствовал себя хорошо как нигде. В этот раз он взял с собой музыки и книг, чего не хватало в прошлый сезон. Все остальное на его промысловом участке было.

Дядь Саша приехал в семь. Долго ревел мотором в предрассветном узком проулке и наконец, зацепив угол соседского забора, загнал «Урал» прямо во двор.

– Здорово, охотник! – Довольный, грузно слез с высокой подножки. – Кофейку врежем на дорожку?

«Александр Иванович Гусев» – так у дядь Саши было написано в паспорте, но и дети и старики в поселке звали его просто дядь Сашей, а многие и не знали, что он Гусев, – был под метр восемьдесят. Мощная, волосатая и вечно распахнутая грудь, руки, от одного вида которых становилось спокойнее на душе. Такими руками, казалось, можно и «Урал» за передок поддомкратить. Лицо красноватое, в шрамах, с седыми кустами бровей и усов. Глаза серые, смотрели умно и спокойно с чуть хитроватым, а чаще озорным прищуром.

Он был бригадиром рыбаков, трезво и глубоко любил свою работу, море, молоденькую жену и старый «Урал», на котором всегда ездил, как на легковушке, и подрабатывал, когда не было рыбалки. К дядь Саше в поселке прислушивались, потому что он был человеком правильным. Ничего его не меняло: ни деньги, ни горе, ни водка.

---

<sup>9</sup> Профессиональный охотник – руководитель охотой и помощник охотника на африканских сафари.

Дядь Саша вошел, не слушая протестов Жебровского – «все равно грязно», кряхтя, снял у порога кирзачи с завернутыми верхами и смятые пижонской гармошкой. Поддел пальцем единственную пуговицу камуфляжной куртки, натянувшейся на пупе. Под ней была только рубашка. Ни свитера, ничего...

– Садись. – Илья кивнул на стул и включил чайник. Тот был теплый и сразу засипел. – А Николай где?

– Поваренок-то? – Дядь Саша взял из полиэтиленового пакета карамельку, развернул и засунул в рот. – По дороге заберем, пусть со своими понянькается. У него младшему полтора года. Что за ружье? – кивнул головой на дорогой кожаный чехол, из которого торчал приклад. – Можно?

– Штуцер. Нижний ствол на птичку и на соболя, верхний – на крупного зверя.

Дядь Саша достал изящное, почти игрушечное в его руках оружие, отодвинув от глаз, рассмотрел гравировку и стал аккуратно класть обратно в чехол. Даже не прицелился, как это сделал бы любой охотник.

– Специально заказал, – пояснил Жебровский, – в прошлом году ружье и карабин таскал.

– А я вожу в кабине двенадцатый калибр, да патронов, кажется, нет... – Дядь Саша задумался. – Потерял, что ли? Не знаю, где засунул.

– Как же в тайге без оружия?

– А чего?

– Мало ли... сломаешься, есть нечего...

– Да-а, – засмеялся глазами дядь Саша, – рыбы где-нибудь найду. Ее скорее поймашь...

Жебровский заварил чай, поставил кружки на стол:

– Что думаешь? Дня за два, за три доедем? – Илья плохо представлял себе дорогу: в прошлом году он залетал на вертолете, чем вызвал пересуды у охотников. Вертолет стоил таких денег, что никаких соболей не хватило бы окупить.

– Чего загадывать... – дядь Саша отхлебнул из кружки, – непогода врежет, и забичуем где-нибудь в Эльчане у эвенов.

– Завалено здорово?

– Не знаю, до развилки чисто, дальше, если через Генку Милютинина ехать, то до середины Юхты пропилено, я в прошлом году ездил... Если через Кобяка, там перевал выше, там не знаю. У Кобяка вездеход, должна быть дорога...

– А нельзя у Кобяка узнать? – Илья уже просил об этом и Поваренка, и дядь Сашу и теперь досадовал, что они не узнали.

– Что-то нет его, может, заехал уже на участок... Поедем, что ли? Там видно будет... – Дядь Саша направился к двери.

Они закинули в кузов «Урала» два ящика, загнали по наклонным доскам «Ямаху», остальное было загружено еще вчера. Дядь Саша с грохотом закрыл борт, крутанул запор и шлепнул по борту рукой. Такая у него была примета – шлепнешь, так же весело открывать будешь.

Илья взял карабин, рюкзачок с термосом и документами, вывернул пробку из счетчика и с замком в руках пошел на улицу. Закрыл, ключ сунул за наличник. Постоял, мысленно прощаясь с домом до Нового года. Он волновался. Не так уже, конечно, как в прошлом году, но все-таки – один в тайгу, на три месяца. Ночью ему не к месту, предательски снилась удивительно приятная Москва. Вечер в центре города, много огней, людей, они с женой выходят из Малого зала консерватории и думают, в какой ресторан...

В «Урале» на двойном пассажирском сиденье был расстелен вытертый до кожи тулуп, Илья перекрестился мысленно, прошептал про себя «Помогай, Господи!». Дядь Саша об

этом же задумался, глядя на мертвую доску приборов, потом решительно вставил ключ. Обоим хотелось в тайгу. Жебровскому понятно почему, а дядь Саше, как всякому бродяге, в дороге всегда было хорошо. Особенно когда ничего про эту дорогу неизвестно – деревьями, скорее всего, завалена, и снег в верхах уже мог быть глубоким. В одну машину стремно было ехать, и одно это уже напрягало и радовало. Господь не выдаст...

Завел мотор, погазовал, воткнул передачу и тронулся, выворачивая из ворот. «Урал» медленно вписывался и наполовину уже выехал, как что-то вдруг начало скрежетать внизу. Дядь Саша передернул рычаги, надавил на газ, мотор ревел, машина тряслась и двигалась толчками. Дядь Саша выругался и полез из кабины.

– Передний мост, падла, рассыпался... – выбрался он из-под машины, скребя могучей пятерней седой лохматый чуб.

Дядь Саша ждал этой беды, в кузове у него был запасной мост, теперь, правда, барахлом заваленный. Набрал в телефоне Мишку Милютин. Потом вызвал Поваренка.

К обеду ясно стало, что сегодня не выехать, конца не видать было. Вместе с мостом надо было менять еще что-то, Поваренок обзванивал мастерские и корешей в поисках нужных сальников и рычагов. Жебровский сначала пытался вникать, потом просто сидел рядом на ящике, скучая и покуривая. Дядь Саша тоже особо не лез, работой молча управлял высокий и худощавый Мишка. В полдень Илья принес мужикам очередной термос с кофе и ушел в дом.

После столицы он небыстро привыкал к местным темпам, прямо заставлял себя спокойнее относиться и терпеть это другое течение времени. Улыбаться даже себе велел... только как тут было улыбаться, когда вместо тайги он полдня уже обозревал родимые пятна милой родины. Нанять другую машину тоже было нельзя, его бы здесь не поняли, да, наверное, никто и не поехал бы.

Илья поставил вариться макароны, открыл тушенку, от нечего делать, а скорее, от охотничьего зуда в руках достал штуцер. Новое оружие благородно поблескивало аккуратными стволами и дорогой ложей с замысловатыми рисунками орехового дерева. Вспомнил, как ездил за ним в Австрию, как пробовал там на стрельбище – пуля в пулю ложились. Работа была штучная, ему надо было к сентябрю, и австрияки все сделали в срок и нигде не отступили от своего качества, которое они выдерживали веками. Мастерская была семейная, располагалась в горной австрийской деревушке, седоусый старик-отец работал с двумя взрослыми тоже усатыми сыновьями. Когда Илья приехал за оружием, они собрались все, приодетые, выпивали горьковатую домашнюю настойку из маленьких стаканчиков, покуривали и посматривали на свою работу и на довольного клиента.

Илья вскинулся, целясь в заплесневевший угол комнаты, щелкнул бойками, еще раз взвесил в руках сделанное по нему оружие и с благодарностью вспомнил неторопливых и уважающих себя австрийцев. Потом подумал о русских, менявших сейчас развалившийся мост на еще не развалившийся. Шило на мыло. И на этом мосту они собирались ехать полтысячи верст по заваленным зимним увалам через Джуг-Джур и Юдомский хребет...

Приеду, сначала пройду по речке, рыбу гляну. Потом оленей посмотрю на склонах выше стлаников. Потом капканы уже, прикидывал Жебровский.

В прошлом году, в самом начале, он, не зная дорог, полез в одном месте прямым по густым стланиковым зарослям и спящему зверю чуть на голову не наступил. Медведь – возможно, он укладывался на зиму – подскочил метрах в десяти и с уханьем рванул вниз по склону. Илья застыл с бешено колотящимся сердцем. Вокруг поднимались безучастные к нему горы, большое стланиковое поле, в середине которого он стоял на кривом качающемся стволе, молчаливо колебалось под ветром. Он даже не медведя испугался, но того, что он был там один. Случись что, его никогда не нашли бы в этих дебрях. Никогда! Почти бутылку

виски усидел в тот вечер, отбиваясь от внутренней паники. Через неделю только привык и перестал озиаться и приглядываться, да и медведи залегли...

Жебровский сидел на шатучей, готовой развалиться табуретке, в который уже раз думая о том, что ее надо починить, и смотрел в окно. Было девятое октября. С утра солнце немного побаловало, потом натянуло вынос с моря, и полетел снежок. В окно было видно дядь Сашу. Он стоял без шапки, в так и не застегнутой куртке, из-под которой торчала красная от холода, седая грудь. Что-то говорил Мишке, лежащему под мотором.

Трудно было не залюбоваться. Ноги, руки, тяжелые плечи – все в дядь Саше было мощно. Двигался при этом он легко и решения принимал быстро. А если они оказывались неправильными, то легко решал все заново и по-другому и опять двигался быстро.

Илья взял сигареты и вышел на улицу. Дядь Саша ворчал за что-то на Мишку. Видно было, что это для порядка, что он на самом деле и любит, и уважает своего, как он называл, крестника. Это он когда-то «доверил» Мишке напрочь убитую, несколько раз тонувшую 150-сильную «Хонду» с бригадного катера. Никто не верил, что ее вообще можно починить, даже ходили смотреть на эту «Хонду», слушали, как работает. Мишке тогда было пятнадцать лет. «Хонда» весила больше, чем он, раза в три. Теперь Мишке Милютину шел семнадцатый, он был длинный, вполне похож – только не пил – на взрослого мужика, и у него был свой авто-сервис. То есть мужики привозили ему во двор негодное и потом на этом негодном уезжали.

Дядь Саша был бродяга в душе, и судьба его, как и всякого, видно, бродяги, была непростой. Жебровский знал ее по рассказам других, обрывками. Слышал, что три года назад, весной, убили младшего сына дядь Саши – Сашку. В тот день Сашка вернулся из армии. В кафе дело было, куда он никогда не ходил. Один прыщавый, на голову ниже Сашки, курнув дряни, пырнул ножом. Весь поселок хоронил. Сашка был красивый, трезвый и в жизни никого не обидел. Он и в этот день не пил почти и ни с кем не ссорился. Пырнули его по полной дури, может, за то как раз, что был такой красивый и беззлобный. Его ударили ножом, а он только морщился, улыбался растерянно и виновато, зажимая рукой расплывающееся кровавое пятно.

Малолетнего убийцу до милиции полуживого довели. Догоняли пьяные «уазик», отнимали у ментов и потом отдавали. Так несколько раз наводили справедливость, но никого это не вернуло и не утешило. Через два месяца отвезли к Сашке и его мать: каждый день на кладбище ходила и, кажется, сама себя уговорила уйти. Сам же дядь Саша ничего, остался жить, только голова серая сделалась да горькая тоска навсегда поселилась в глубине его серых же, схваченных морщинами глаз.

У него было еще двое сыновей. Взрослые, женатые. Были и внуки, но что-то хрустнуло в его жизни, провернулось невпопад... не тянуло ни к детям, ни к внукам. Казалось ему, что болен чем-то заразным для других людей и что другие люди об этом знают. Сыновья... жили своей жизнью.

Тогда, три года назад, он отработал сезон и осенью остался сторожем в собственной бригаде. Обычно на это дело бичей подписывали за жилье и харчи, а тут сам остался. Долгая была зима. Всяко-разно жил он эти восемь месяцев. Бывало, по осени особенно почему-то, бражку пил неделями, ночь с днем путал, а то целыми днями в окошко на штормовое море смотрел, и такие мысли в башку лезли, что лучше уж бражку пить. А то вдруг начинал пахать как вол.

Выздоровел не выздоровел – непонятно, только когда бригада в мае на селедку заехала, он был ничего, спокойный. На распрямившейся крыше барака серел новый рубероид, большой военный генератор, не работавший лет десять, исправно стучал, дрова были натасканы трактором года на три, попилены и сложены аккуратно.

Дядь Саша же с удивлением обнаружил среди мужиков повариху. Молоденькую, лет двадцати пяти, темненькую, глазастую и хрупкую, как ему показалось. И еще имя такое – Полина – как у маленькой девочки. Может, она приехала с кем-то, дядь Саша не обратил на это внимания. Он сразу стал оберегать ее, сам помогал и парней заставлял, чего никогда не бывало, мыть посуду и чистить картошку. И злился по-серьезному, когда кто-то рассказывал при Полине похабный анекдот. Не только мужики, но и она сама не очень это все понимала. Самых непонятливых дядь Саша за плечо подержал своей клешней, заглядывая в глаза, и всем стало ясно, что бригадир не шутит. Но почему он так себя ведет, все же было не совсем ясно. Никаких видов на Полину бригадир не имел.

Все это было необычно для бригады, порядки в которой установились при царе Горохе и были так просты, что... чего уж их и трогать. Сам дядь Саша на притонении<sup>10</sup> так иной раз выдавал трехэтажного – листвяшки на другом берегу лагуны скручивало. А тут! Как это при бабе нельзя сказать чего-то? В поселке многие умели одним матом разговаривать, и не только мужики. Сама Поля могла ввернуть – мало не покажется – она никак не была хрупкой. Или посуду мыть! Кто вообще приволок ее в бригаду? Раньше бичара поварной вкалывал на кухне – готовил, мел и посуду мыл, – и все было в порядке... Готовила она, правда, неплохо, с бичом никак не сравнишь.

На вшивоту, однако, дядь Сашу не взять было, за Полей он ухаживал как за дочерью. Даже выпивший не клеил ее, ни одного взгляда неправильного не позволил. Кто-то заметил, что по возрасту она почти как его покойный Сашка. Даже занятно было. К концу сезона мужики уже привыкли, что у них в бригаде коротко и ясно выразиться не везде можно было, и вообще, женщина на кухне – это все-таки не грязный бичара. Не стеснясь друг друга, убогие цветочки с соленой морской косы собирали по дороге с тони... Приглашали Полину на следующий сезон.

Поля, кстати, все чувствовала и вела себя правильно. Хвостом не вертела, мужиков обшивала, а дядь Сашу и обстирывала – они жили в бригадирском домике. Через стенку, правда. Даже входы у них были с разных сторон. С дядь Сашей вела себя вроде как со всеми... Но это только «вроде». Все-таки он был видный и здоровый, и было ему тогда всего пятьдесят два. В таком возрасте мужика хорошо видно – мужик он или как? Не ошибешься. Седой, конечно, но это, кажется, только лучше. Красивее. К тому же он был главным среди мужиков, а это на женщин капитально влияет.

А еще... не ухаживал за ней никто и никогда таким вот человеческим способом.

К осени она так к нему привыкла, что однажды, когда на кухне никого не было, краснея и отводя взгляд, попросилась остаться с ним на бригаде. Они прожили вдвоем три месяца и выехали в поселок к Новому году. Тут уже, конечно, шли другие разговоры, она была младше его детей, но дядь Саша с Полей на это внимания не обращали. Расписались весной. Когда у людей по-настоящему все хорошо, какое им дело до разговоров...

Жебровский слил макароны и вышел на крыльцо:

– Пойдем поедим, мужики!

Вечером, совсем уже стемнело, привезли какую-то последнюю запчасть и наконец все собрали. Мишка, не взяв с «крестного» денег, грязный, с руками, черными по локоть, уехал домой, а дядь Саша с Поваренком и со всем барахлом в кузове поехали на другой конец поселка – машину проверить и что-то там забрать. Жебровскому наказали картошки сварить.

Илья начистил полкастрюли, поставил на плитку и вышел покурить. Звезд не было. С моря опять затягивало вынос. Снег будет, подумал. Его ничего уже не пугало. Он знал,

---

<sup>10</sup> Тоня – место ловли рыбы неводом. Притонение – заведение и вытягивание невода.

что завтра рано утром они выедут и через два или три дня все равно будут на месте. Он с уважением думал о мужиках, которые не растерялись от серьезной поломки, а спокойно все нашли и сделали. Только так здесь и можно было. И его в тайге ждала такая же жизнь, где рассчитывать можно только на себя, на спокойную работу.

Дядь Саша подъехал. Не стал загонять «Урал» во двор. В проулке оставил. Поваренок ввалился в дом с двумя клетчатými китайскими сумками. Копченые рыбы хвосты торчали, коричневые горлышки пивных полторашек, поджаристая жопка белой буханки. Свежим хлебом запахло.

– Наливай, маманя, щёв, я привел товарищев! – громко пропел, ставя сумки на стол и торжественно поглядывая на Жебровского. – А, Москвич! Новый мост обмыть надо! А то дядь Саня орет, ехать, мол, прямо сейчас! А, дядь Сань, – обернулся он на входящего товарища, – езжай, куда раздеваешься?!

Колька Поваренок совсем не был наглецом, скорее даже наоборот, но отчего-то, может, из-за маленького роста, а может, как раз из-за внутренней скромности, всю жизнь изображал из себя человека бесцеремонного и бичеватого. Дядь Саша, снявший было куртку, посмотрел на Жебровского:

– А что, может, поехали? – прищурился азартно.

Жебровский удивленно глянул на темное окно, потом на часы.

– По дороге пожуем, в Эльчане переночуем...

Кольку никак не устраивал этот вариант. Он ловко пластал на куски текущего жиром копченого кижуча, командовал Жебровскому банку открыть и наловить в ней огурцов и еще успевал про своего младшенького рассказать. Кольке было сорок пять, а его младшенькому полтора, но они были корефаны – не разлей вода, куда я, туда и он, суч-чий хвост... гвозди уже забивать умеет!

Вскоре в центре стола в большой миске парила картошка, облитая вонючим подсолнечным маслом, копченая рыба, аккуратно порезанная быстрыми Колькиными руками, золотой и красной горкой «отдыхала» на газетке, домашние огурцы и капуста квашеная в разнокалиберных тарелках. Дядь Саша у кухонного стола доделывал салат из мелко нарезанной подкопченной нерки. Нярки, как он ее называл. С луком и подсолнечным маслом. Жебровский порезал хлеб, достал водку из морозилки.

– Чтоб у тебя вся машина рассыпалась, а мост все ездил и ездил! – Колька шмыгнул длинноватым носом, чокнулся, подмигнул Жебровскому и, «культурно» оттопырив пальцы от рюмки, выпил.

– Э-э, – махнул рукой дядь Саша, – я...

– Хрен ли уж, пей давай... – Колька был доволен сегодняшним днем и тем, что так все хорошо кончилось. – Попрям завтра, ничего вроде идет, не гремит...

– Ну, – согласился дядь Саша.

В этот момент у соседей на улице раздалась ругань, поток бессмысленного, захлебывающегося яростью мата, потом звон таза, еще чего-то металлического об забор, опять громкий и корявый мат. Потом завелся мотор, и машина с ревом выкатилась со двора.

– Всё, уехал Иван, с обеда сегодня воюет со своей, – прокомментировал Колька, наливая по второй. – Чего, не нравится дядь-Санин салат?

– Я не пробовал еще... – ответил Илья.

– Ешь, только у них в бригаде такой делают. Кто придумал-то, дядь Сань, я забыл?

– Женька Московский. Тоже, кстати, москвич был, – объяснил дядь Саша Илье. – Поваром приезжал работать в бригаду. Лет десять, наверное, ездил каждое лето. Хорошо варил!

– И что? – заинтересовался Жебровский.

– Да ничего, давно уж нет его. Не приезжает.

– Бизнес, может, завел, – вставил Колька, всем видом показывая, что дело это говенное.

Жебровский второй год наблюдал, как мужики не принимали его за своего. По имени не называли, а кличка была пренебрежительная и подчеркивающая разницу – Москвич. Не то чтобы ему очень хотелось, чтобы его приняли, но непонятно было, от чего это вообще зависит. Вел он себя спокойно, одевался неброско, слушал их советы, водку с ними пил, деньгами не сорил. Возможно, они из гордости не могли признать, что какой-то москвич может так же, как они, жить и охотиться в тайге. Это нарушало представление местных об устройстве мира. Москвичами в их понимании могли быть только те капризные, зажавшиеся люди, что с жиру день и ночь скачут по телевизору, а они, это были они – умелые, бедные и веселые. Даже китайцы были понятнее и ближе москвичей.

Мужики закусывали в охотку, наморозились за день, дядь-Сашин рыбный салат был действительно вкусный. Поваренок дожевал, вытер руки и пристально, с дураковатым выражением уставился на Жебровского.

– Что? – не понял Илья.

– У нас рыбу без водки только собаки едят!

Илья улыбнулся и потянулся за бутылкой. Выпили. Поваренок ловко снял зубами рыбу с кожи, заулыбался, жуя и вспоминая что-то:

– Ты говоришь, мост передний... – потрогал он Жебровского обратной стороной ладони, не испачканной в рыбе, – у нас тут в прошлом году, да, дядь Сань? Такая вышла ерунда... Ехали мы на этом «Урале» в конце октября, так же вот... выезжали уже, машина икрой забита под завязку. Нас в кабине трое, Андрюха Слесаренко и мы с дядь Саней. Короче, к перевалу тянемся, едем себе, покуриваем, зимовье на другой стороне под перевалом, должны до ночи успеть. Ну вот... а погода все хуже и хуже, на перевал заползли – снежище уже валит – капот не видно! Все ровно вокруг, голо, ни кустика – ни хрена не понять, и, главное, перевал там длинный. Я из кабины спрыгнул, думал, может, ногами лучше пойму, куда там – пурга прямо с ног валит, ничего не видно.

Колька вытянул «Приму» из пачки, посмотрел на дядь Саню.

– А? Дядь Сань? Сидим, короче, в кабине, ее насквозь продувает, что делать? Ну, поехали на дурака, думаем, если вниз начнем спускаться, там уже можно будет ногами поискать – за перевалом дорога опять между стланиками шла. Что-то ездим-ездим, не знаю уж как, может, и кругами, потом чувствуем – спускаемся. Андрюха пошел глядеть, возвращается минут через двадцать, прикинь – мы уже похоронили его. Не то место, говорит, бесполезно дорогу искать, не отличишь, где просто заманиха, а где проезже.

Подъехали к самым стланикам – надо чего-то городить, не в «Урале» же сидеть. Стланик наверху, на перевале, сам знаешь, мелкий, не спрятаться, ничего. А снега уже навалило по яйца, давай мы таскать по этим корягам барахло вниз по расселине. Андрюха нашел хорошее место – ямка такая под стланиками – ручей весной выгреб, над нами почти полностью крыша получилась, уже снегом заваленная. Ну, мы там подпилили, красоту навели, лежанки поделали, я лопатой все дырки снегом закидал. Только с дровами плохо – не в лесу же. Набрали мелочи да досок из машины принесли...

– Все борта мне пожгли... – вставил дядь Саня довольно.

– Чего сидите, наливайте! – скомандовал Колька и сам же стал разливать. – Двое суток сидели, хорошо, не холодно было, градусов десять-пятнадцать, может, да, дядь Сань?

– Ну, – кивнул дядь Саша, – ты лучше вспомни, как бутылку потерял.

– Я потерял! – возмутился Колька. – Андрюха! Короче, была у меня в заначке полтора пашка хорошей гамызы градусов семьдесят...

– Здорово, мужики... – в избу, нагибаясь, входил высокий и сильно худой старик.

– Здорово, Трофимыч, к столу как раз! – радостно заорал Поваренок, сунул ему руку и пододвинул табуретку. – Тяпнешь с нами?

– Не-е, пейте. – Трофимыч сел и положил на стол большую крюковастую руку. Глядел, как мужики пьют и морщатся.

– Вы уж все, что ли? Сложились? – обратился Трофимыч к дядь Саше, когда тот поставил кружку на стол.

– Ну...

– Меня-то еще не возьмешь? – Дед почему-то говорил хмуро.

– Куда тебе? – Дядь Саша перемешал остатки салата и зачерпнул ложкой.

– На мой участок. Ты меня возил, когда... – Дед замолчал, сурово глядя на дядь Сашу.

Дядь Саша прожевал, облизал губы, усы отер, прикидывая, как изменится маршрут. Все примолкли. Поваренок тоже соображал что-то, с удивлением глядя на старика, Жебровский напрягся, боясь, что опять может отложиться.

– У меня немного. Я, да кобель, да четыре мешка барахла... До Генки меня только, а там он на «Буране», я с ним вчера по рации говорил.

– Что там, снег есть? – спросил Жебровский.

– Не особо. По верхам только... – ответил дед, едва взглянув на Жебровского.

– У меня, значит, есть, – обрадовался Илья.

– Ну, Генка говорит, на якутской стороне снега полно, а у нас с ним, на Юхте, нет. Дак что? – опять обратился он к дядь Саше.

– Не знаю, Трофимыч, как вон Москвич скажет... да и ехать-то как? В кабине нет места больше.

– Это ладно, до Медвежки если, там двести верст всего! Я и на шмотках могу, сверху. – Встрял Колька, налил водку, шуря глаз и делая вид, что налить ровно его интересует никак не меньше. – Тулуп есть, доеду... Ну, давайте!

Закусили. Дядь Саша потянулся к поваренковской «Приме».

– Моих попробуй, – предложил Жебровский.

– У тебя тоже без фильтра? – дядь Саша взял пачку в руки, понюхал, вытянул сигарету.

– С Кубы выписываю. Настоящий табак. Бери! – предложил Жебровский и Кольке.

Закурили втроем.

– Ты давно уж не был у себя, Трофимыч! Тяжело будет! – Колька налил себе пива в кружку. – Капканья заржавели, небось, взял бы кого в напарники.

Трофимыч не отвечал Поваренку. В нем не было той радостной, нетерпеливой лихорадки, что трепетала в Жебровском. В нем, казалось, вообще мало осталось эмоций, только хмурая решимость ехать. И мужики это чувствовали. Может, и не понимали – Трофимыч с виду все-таки слабоват был для охоты, – но и отговаривать не смели. Глядел дед колюче.

Помолчали.

– У тебя вещи дома? – спросил дядь Саша.

– Ну. Заедете, что ли?

– Заедем, чего же...

Лицо Трофимыча, худое, в глубоких морщинах, давно не бритое и обросшее белой щетиной, не изменилось, но вздохнул он облегченно, посмотрел на Жебровского:

– А ты на Лепёхинском месте? – спросил, будто маленько извинялся, что набился в попутчики.

– Да...

– Хороший участок, маловат только, а так Лепёха-то рукастый, царствие небесное. Я бывал. Сходились иногда: Генка Милютин, Лепёха да я. – Дед вдруг ощерился малозубым ртом и заблестел глазом: – Раз дня три пьянствовали! Хороший год был. Мы пьем сидим, а у нас соболя ловятся – во как бывало! У Лепёхина бражки было две фляги, так всю уели, мать ее...

Дед замолчал. Потом стал подниматься.

– Ну ладно, пойду... кобеля проверю, чтоб не ушел куда, давайте... – Трофимыч подал всем руку, – а то я своих разогнал, не пускают, старуха с дочкой... ревут!

Трофимыч натянул шапку на уши и, застегивая ватник, вышел.

– За семьдесят уже, а тянет в тайгу... – Дядь Саша задумчиво глядел на дверь, закрывшуюся за стариком. – Всю жизнь в лесу, а все равно...

– Привычка, видать... семьдесят два ему. – Колька сунул в рот очередную сигарету.

– Я ни разу не охотился... так чтоб вот. И не хотелось. Никакого простора. На море могу хоть месяц смотреть, а в лесу мне скучно. А Трофимыча в лес тянет. Я раньше думал, что человек к старости тупее как-то становится, – ни хрена. Так иной раз завернет, – дядь Саша развел руками, – ой-ой-ой! Аж башка кружится. В молодости не было такого.

– А с Полинкой у тебя тоже башка кружится?

Дядь Саша глянул на Поваренка, тот, похоже, не шутил.

– Бывает, Коль, думаешь, сейчас сердце захлебнется и встанет. Особенно когда ее нет рядом. Дети же у меня, внуки... тоже вроде, но не так. – Дядь Саша замолк. – Меня до нее никто не любил. Нина-покойница? Жили нормально... Не ругались, а только не было такого, привыкли просто... Иногда проснусь ночью, гляжу на Полю и думаю, что это такое – я же в два раза старше. Думаю, может, просто мужиков молодых нет путных, да ведь есть же. За ней сколько народу ухлестывало. Вертолетчик этот из Николаевска. А? Как она со мной, почему?

– Да-а... – Колька забылся и достал сигарету из пачки, хотя его кубинская дымила в пепельнице. – Вот и Трофимыч, видно, так. Может, она ему тоже никогда не изменяла?

– Кто? – нахмурился дядь Саша.

– Тайга! Вот он от своей старухи и бежит к ней.

Мужики сидели молча, думая о своем. Печка трещала сырыми листовыми поленьями, да Колька отстукивал по спичечному коробку.

– А у тебя... – поднял Поваренок взгляд на Илью, – что же жена твоя... отпускает тебя? Жебровский внимательно их слушал и думал о чем-то ответил не сразу:

– У меня жена почти ничего из того, что я люблю, не любит... Вот такую вот простую жизнь имею в виду... – Он покачал головой. – Ей это кажется примитивным.

– Взял бы разок в лес с собой... не на сезон, а вот так... – Поваренок задумался, как можно взять с собой бабу в лес. – Ну, там... за грибами сходить, ухи наварить... на выходные, короче!

– И чего? – не понял дядь Саша.

– Чего... – Колька и сам не понял, чего хотел: чтобы та московская баба полюбила тайгу или наоборот... – А ты сам-то чего хочешь? Чтобы она с тобой, что ли, ездила?

– Да нет, конечно... – Жебровский улыбнулся, – но... я же тоже с ней почти всю жизнь прожил. Меня в прошлом году не было почти четыре месяца, она вроде и соскучилась, а на другой день уже всё. Как будто и не охотился. Не расспросила ничего... даже фотографии не посмотрела.

– Моя тоже никогда не спрашивает. Да и что ей рассказывать? Как вот мост, что ли, меняли? Или как невод таскали? Никогда это бабе не будет интересно, даже не думай. Уехал, все – привет, вернулся – слава богу.

Дядь Саша, молча их слушавший, достал папиросу и подсел к печке:

– Поля меня обо всем спрашивает, я даже иногда думаю, не ревнует ли? И всегда сама меня собирает. – Дядь Саша посмотрел на мужиков. В глазах было и удивление и мелкая похвальба. – Никогда Нина-покойница не собирала, она и не знала, где что у меня лежит. А эта все знает, никогда не забудет ничего! Сам-то всяко-разно забудешь, а Поля нет. И всегда меня ждет, вот что! Когда бы ни приехал, как будто знает, что буду. Все у нее готово, всегда рада.

– Ну ясно, одна-то сидит, ни детей, ничего, чего ей еще делать. А у моей – трое. – Не без ревности подытожил Колька.

– Тут дело в другом, моей жене совсем не интересно то, что интересно мне. Ей и себя хватает. Там, на материке, все уже по-другому... – пояснил Жебровский.

– А где работает? – перебил Поваренок.

– Она искусствовед. – Жебровский сказал и глянул на Кольку.

– Да может, у нее есть кто? – то ли нахмурился, то ли улыбнулся Поваренок. – Воля, она и добрую жену портит... Дело житейское.

– Ну-у... – Жебровский взял кружку, заглянул в нее, – я не думаю...

– Думай, не думай, оно само собой заводится, ну и... вернулся домой, все нормально? Значит, и хорошо. Ничего не надо думать. Уезжаешь на три месяца свои удовольствия справлять, а она что, сдохнуть должна?

Колька посмотрел на дядь Сашу, ища поддержки, но тут же понял, что не по адресу обратился, и все же он очень доволен этой своей смелой мыслью был.

– Сами-то... – Повернулся к Жебровскому. – Не святые небось, что же бабы должны терпеть?

Жебровский пожал плечами. Дальше ему явно не хотелось говорить.

– Что-то ты, Поваренок, раздухарился, искусствовед хренов. Сдохнуть они должны... никто без этого еще не подох, – передразнил дядь Саша. – В прошлом году в бригаде каждый день со своей трещал. Две рации с собой взял, чтоб, не дай бог, не сломалось. Каждый день, утром и вечером, – кивнул он Жебровскому.

– У меня Димка маленький тогда был... – подскочил Поваренок. – Годика не было.

– Так, может, и парнишка не твой? Тебя ж по полгода дома не бывает? – Дядь Саша хитро смотрел из-под лохматых бровей.

– Вот собака, гад! – выругался Поваренок беззлобно и, повернувшись к Жебровскому и тыча пальцем в дядь Сашу, добавил: – Он моему Димке крестный батька...

– А ты не заговаривайся. Ждет моя меня, и нормально. И я никуда не озираюсь! Никак по-другому и быть не должно. Тут все правильно устроено.

– Ну а если она маленько того... маленько «посмотрит» на кого, что, убудет от нее?

– Убудет, – сказал дядь Саша спокойно и внятно. – Он поднялся с корточек от печки, и Жебровский опять удивился, какой он крепкий. – Все это знают, Коля. И ты своей каждый день звонил, потому что она каждый день ждала. – Дядь Саша сел за стол. – Вот яблоко, – он взял в руки краснобокое яблоко, – красивое! Плотненькое, в нем жизни полно, пока оно целое... а ковырни его ногтем, чуть-чуть ковырни... Через два дня выбросишь!

Дядь Саша осторожно положил яблоко в миску.

– Все это знают, и все ковыряют, – философски заметил Колька.

– Почему ковыряют-то? Вот вопрос!

– Да себя, видно, любим, от этого всё... – Поваренок потянулся за бутылкой. – Что-то не пьем ни хрена...

– Это понятно...

Разговоры о смысле жизни не способствуют пьянству. Мужики покурили, обсудили что-то незначашее на завтрашний день и, хотя собирались ночевать у Жебровского, разъехались. Дядь Саше что-то понадобилось дома, Поваренок... все равно, мол, мимо меня поедешь... и Жебровский остался один.

Он неторопливо убирал со стола, мыл посуду, думал о странной, непонятно на чем основанной уверенности дядь Саши, о его Полине, невольно представлял свою жену здесь, в этом домике, и ему становилось непонятно и смутно на душе. Голова, как заглочивший компьютер, выдавала набор картинок: пустой лондонский дом, пустая почему-то москов-

ская улица с мелким дождичком, зимнее, утреннее и безлюдное парижское кафе с зевающим официантом... Везде было скучно, везде он был один, ничего не делал, и ему ничего не хотелось делать. Он хмурился, звал на помощь белое спокойствие своего участка, гор и тайги. Но сейчас почему-то и туда не хотелось.

## 5

Степан Кобяков был чуть выше среднего роста. Крепкий, большерукий, как все промысловики, и молчаливый с вечно не то угрюмым, не то внимательным, но недолгим взглядом из-под лохматых бровей. Лицо самое простое, неброское, нос небольшой картошкой, темно-русые волосы. Не было в нем ничего красивого или просто приятного. Во взгляде всегда одно и то же – ровное спокойствие, не допускающее ни соплей, ни ругани, ни лишних слов. Не понять по нему было – доволен он, нет ли. Когда ему было интересно, слушал внимательно, но вопросов не задавал, компаний ради компаний не признавал, и пьяным его никогда не видели. Всю жизнь, сначала с отцом, а с семнадцати лет один промышлял в тайге, на своем участке – все у него было свое, и все исправно работало. Он был закоренелый одиночка, и его невольно уважали, может, кто и недолюбливал за обособленность от людей, но уважали. В конце концов, плохого он никому не делал.

Может, такой вот матерый мужик и составлял когда-то основу русской породы. Не могли же лодыри да пьяницы отломить, а потом еще и освоить полмира...

Больше всего Степан походил на портового грузчика, плечи и ноги которого будто созданы были для неторопливой, с побряхтыванием, тяжелой ноши, но Кобяков был легок на тропу. Под тяжелым рюкзаком и уставший – вторые сутки уже не спал, – он ходко шел вдоль Рыбной. Пойма была широкая, где пять, а где и все десять километров, со многими рукавами, островами и большими галечными косами. Тальниками заросшая, на высоких местах старыми тополями. Хорошей тропы вдоль реки и быть не могло, и Степан обходил заломы и перебрал рукава, но по дороге, которая в нескольких километрах отсюда тянулась открытой тундрой, идти ему было нельзя.

У Манзурки чуть не столкнулся с мужиками. Те сидели под берегом на поваленном дереве и потихоньку выпивали. Костерок горел. Водитель по старинке клеил пробитое колесо. Степан взял собаку на поводок, вернулся и обошел лесом.

Как зверь инстинктивно сторонится неприятностей, так и он избегал людей, совсем, может, ему и безвредных, и уходил все дальше и дальше, отстаивая право на свободу. Не раздумывая, столкнул он тот «уазик» со своей дороги и так же шел сейчас. Перед ним, впереди, была свобода, за ним же... Что было за ним, он не думал. Сто из ста гадали бы, что там теперь делается и каким боком вылезет, Степан же, как горбатый якутский сохатый, пер своим курсом. И этого было достаточно.

Он чувствовал свою правоту не только перед наглым майором, который полез в тягач, но и перед ментами вообще. Он презирал их, думал о них как о мышах, шуршащих ночью по зимовью. Взять они его не могли. Никак.

Что же касается государства, то тут Степанова совесть была совсем чиста. Государство действовало безнаказанно и о грехах своих никогда не помнило. Он знал за ним столько старых и новых преступлений, за которые оно никак не покалось перед своим народом, что не признавал его прав ни на себя, ни на природу, о которой это государство якобы заботилось.

Так, ни разу не поев, шел до вечера. Солнце час как село на якутскую сторону за Юдомский хребет и сначала заиграло закатными красками, потом погасло, и цвета ушли к Степану за спину на восточный склон неба. Он перебрел протоку, остановился на мысочке острова, заросшего лесом. Сбросил рюкзак и стал внимательно смотреть на окрестные вершины. Он прошел больше сорока километров. До ближайшего зимовья на его участке оставалось примерно так же. Надо было обойти деревню и потом... он думал, идти ли своей тропой, которую еще Степановы деды пробивали на участок, или... нельзя было идти этой дорогой. Ей пользовались деревенские. И через соседский участок тоже нельзя, Генка Милютин обяза-

тельно поймет, что к чему. Степан решил идти верхами, так было дальше, но так его никто бы не вычислил.

Он действовал как старый зверь, уходящий из загона, шкурой понимающий, что надо исчезнуть для охотников – отстояться, выйти вбок или как-то еще, но нельзя попадаться им на глаза. Самым опасным будет первое время, недели две, не больше. Потом инстинкт погони слабеет. Вспомнив про Генку Милютина, Степан, может, первый раз в своей жизни подумал, как к нему теперь относятся мужики. Знают уж все, конечно, по рации обсудили.

Костер разгорался. Карам притащил с реки здорового зелено-малинового кижуча и с хрустом грыз его хрящеватую голову. Рыба, без мозгов уже, с перекушенным хребтом, временами начинала колотить хвостом, стараясь уплыть. Степан, широко зевая, нехотя доел тушенку, бросил банку в костер и сел спиной к дереву, накрывшись спальником. На ногах были зимние «шептуны» на толстой войлочной подметке, под задницей варежки и росомашья ушанка, карабин стоял у бревна. Он еще притирался спиной к дереву, а нос уже начал издавать тихий сап.

Утром напился чаю и вышел по темнó. Нехоженым, густо заросшим притоком направился в сторону от реки. Это был нелогичный и нелегкий путь, и крюк немалый, но он выпался, а медвежьи тропы за осень были хорошо натоптаны, и к обеду он поднимался уже невысоким отрогом. Изредка перекурить присаживался.

Настроение все же было так себе. Вчера, на бешенстве, а может, и от усталости он шел ни о чем не думая, теперь же в голову лезло всякое – то виделось, как у него во дворе делают обыск и допрашивают жену, то он с глазу на глаз, по-мужицки, решал этот вопрос с Тихим. Все это было перебором – жену не должны были тронуть, а с Тихим... вот это можно было бы... Степан шаг убавлял от этой мысли и тут же, упрямо мотнув головой, будто отряхиваясь от чего-то, шагал шире и тверже.

Не менты-ворюги придумали свет белый, и ни им было распоряжаться этими реками и горами и его мужицкой судьбой. Или этими вот ногами, давившими рыжую хвою тропы.

За спиной открывалась широкая тундряная долина Рыбной, а дальше начиналась горная страна с заснеженными вершинами и хребтами. Горы уходили в бесконечную даль, в синее марево неба. Подъем стал положе, лиственницы сыпали мягкую подстилку на присыпанную снегом тропу, на рюкзак, за шиворот. Впереди сквозь лес временами белели вершины хребтов его участка. Степан шел и чувствовал, как тепло любви ко всему этому охватывает душу. В лесу он всегда становился мягче – улыбался, с собаками, деревьями и горами молча разговаривал. Он рад был, что кончилась эта беспутица вдоль реки, и под ногами было твердо, что солнце поднялось над простором моря и светит в спину, и что часа через три он выберется на водораздел, на границу своего участка, и уже к вечеру будет чаевничать в избушке, в вершине Талой. И никакие менты не встанут у него на дороге. Эти поганцы так же его сейчас интересовали, как позавчерашний ветер.

Солнце грело щеку и левую руку на лямке. Правая мерзла. Стланики кончились, звериная тропа вышла на чистый склон и поднималась, становясь все круче, серо-коричневым сыпуном, который местами полз под ногами, скатывался с легким, глухим звоном, обнажая красноватую изнанку плитняка. Тропа уходила вверх зигзагами, сторонясь скал, то тут, то там торчащих по склону. Снег здесь всегда выдувало, и сейчас он рябыми пятнами лежал по укромным местам, сероватый, смешанный с пылью. Ветер к седловине становился все сильнее.

Он вышел почти на самый верх, снял рюкзак, отвязал и надел суконку. Карам отстал. Степан обернулся, посмотрел вниз, прислушиваясь сквозь шум ветра, не орет ли где, но услышал гул вертолета. Он взвалил на себя раскрытый рюкзак и заторопился обратно, вниз

к ближайшим скалам. Вертушка шла со стороны его участка, ее не было видно, только гул нарастал, сбиваемый порывами ветра. Степан торопился, камни ползли под ногами, он бился коленками, резал руки. Он был уже в нескольких метрах от скальника, когда над бело-снежным прогибом перевала вырвалась громкая оранжевая машина. Степан сел и замер. Вертушка прошла так близко, что ему показалось, что он слышит запах выхлопа. Это был Ледеяхов, только он так низко летал в этих горах. Степан внимательно следил за вертушкой, понимая, что его не должны были заметить на рябом склоне. Машина удалялась, снижаясь к деревне.

Если Ледеяхов высадил кого-то... Степан, недобро прищурившись, видел, как в его избушке хозяйничают менты. Он не боялся, за эту дорогу он твердо решил не отступить нигде. Что это значило, было понятно...

Он присел за скалку, лицом к солнышку, сбросил рюкзак и достал сигарету. Сидел, греясь и покуривая, пуская неторопливо синий дымок. Копченное солнцем и ветрами лицо заросло темно-пегой щетиной. С виду было оно спокойно, но покоя в нем не было.

Широкая долина Рыбной рыжела и голубовато туманилась под солнцем, перевальный ветерок налетал резвыми, несильными порывами. Кедровки орали рядом внизу. Погода вставала самая охотничья.

Степан сел под ляжки, подаваясь вперед и наваливая рюкзак на спину, встал, шатнувшись от тяжести, взял карабин и стал неторопливо подниматься к недалекому перевалу. За ним в вершинах Они и Талой начиналась его тайга. На перегибе остановился под скалой, достал из рюкзака небольшой бинокль и долго внимательно смотрел в сторону участка. Он искал дым над зимовьями – дыма не было. Почти по-зимнему все было укрыто снегами, стланики присыпаны и издали казались серыми.

Подбежал Карам, брякнулся рядом на снег, глянул на хозяина черно-белой мордой, но тут же вскочил, вытянул морду и настроил уши вниз по склону. Степан схватил его за вздыбившийся загривок и с силой придавил к земле.

Метрах в трехстах из мелких стлаников прямо на чистое вывалился лось. Зверь был матерый, на снегу казался черным, он чуть забирал к перевалу, здоровые светлые лопаты колыхались и блестели на солнце. Степан надел Караму веревку на шею и выразительно на него посмотрел. Этого было достаточно, пес лег и положил виноватую морду на лапы. Руки сами собой привычно готовили карабин. Лось вел себя странно – шел торопливо и не тропой – спотыкался по камням, временами замирал и глядел назад. Уходит от кого-то, понял Степан. Ни ментов, они все еще крутились у него в голове, ни охотников тут никак не могло быть... Может, в стланиках на мишку нарвался? Сохатый в начале охоты был делом не худым. Господь и тут был на стороне Степана.

Зверь остановился. Сверху, отрезая его от перевала, в седловинку спускался волк, из стлаников, откуда вышел лось, появился еще один – так же открыто бежал неторопливо. Загоняют, понял Степан. К скалам гонят. Или на крутяк. Степан проверил Караму, машинально погладил-придавил умную собачью голову к земле, достал бинокль и, черпая снег в рукава, пополз между камней. Выглянул осторожно. Отсюда вся покать была как на ладони. Ниже его в камнях, прижавшись к земле, лежали два волка. До них было метров сорок. Не поднимая голов, одними глазами наблюдали за сохатым. Еще ниже, загораживая выход в стланики по ручью, лежал еще один, этого Степан видел плохо – только задняя часть торчала на фоне снега. Вот урки, пятеро на одного... нехорошо... меня вы не посчитали, конечно... В другой раз он не особенно и размышлял бы, но тут – прямо интересно стало – уйдет сохатый от волков или что?

Бык, видно, был тертый и знал это место не хуже серых: постояв немного, он не пошел, куда его гнали, а выбрался на тропу и направился вниз и вбок, намереваясь перевалить

в соседний ключ. Степан смотрел в бинокль и соображал, что делать, когда в поле зрения возник еще один волчара. Он стоял на высоком камне в сотне метров впереди сохатого. От, суки, сколько же вас! Степан и раньше видывал, как волки загоняют, но чтобы так вот...

За здорово живешь сохатый не дастся, волки это понимали и теперь уравнивали силы, загоняя его в камни. Степану выгодно было, если бы зверь шел к нему, но он неожиданно для себя прошептал: молодец, не надо, никогда не надо идти туда, куда тебя гонят. Ты же не баран.

Лось шел уверенно, будто не замечая того, на камне, он удалялся от охотника, и Степан, очнувшись, уже начал пристраивать карабин, но зверь вдруг опять остановился. Впереди сохатого было уже два волка. Они сошлись и неторопливо семенили ему навстречу. Рогач, не выдержав, снова развернулся вверх.

Раз, два... четыре... семь – считал Степан. Круг сужался. В засаде оставались трое, остальные открыто выгоняли быка с осыпи в большие камни под Степаном. В этих камнях лось был не боец. Ближний, что бежал с перевала, исчез за перегибом и уже не мог увидеть охотника. Степан осторожно подложил шапку под цевье, удобнее растопырил локти, приложился и снял предохранитель.

Сохатый был уже метрах в пятидесяти, слышно было, как он хрипло выдыхает и гремит копытами, перешагивая и спотыкаясь по камням. Задние перешли на бег, а те, что лежали, приготовились. Уши торчали. Они очень хорошо лежали, один закрывал другого. Раздвоенный силуэт темнел на фоне снега. Степан прицелился чуть выше лопатки первого, второму должно было прийти по месту. Господи, пособи... После выстрела один так и остался лежать, второй подпрыгнул вверх, упал на бок и безжизненно поехал по снегу. Лось стал как вкопанный, волки замерли, не понимая, что произошло. Степан лежал не шевелясь – эхо, отражаясь от гор, могло обмануть серых. Ближнего легко можно было расстрелять, он развернулся и бросился своим следом на перевал, за ним другой и потом нижние, обтекая лося, полетели вверх. Это было неплохо. Степан выцелил дальнего, только зацепил, волк завизжал, заскулил, как собака, задок у него не работал, он споткнулся и покатился вниз, гребя передними лапами. Потом тупо ткнулся в склон бежавший впереди него. Степан развернулся на самого правого, тот был почти на перевале – промазал, передернул, еще раз промазал – пуля взрыла под волком, и наконец попал. Два зверя скрывались в ручье, Степан дважды выстрелил им в угон, наудачу, но, кажется, не попал, надо было идти, смотреть. Только тут вспомнил про лося. Тот уходил в соседний ключ. Патроны еще были. Степан вскинулся, далековато было, взял выше – по качающимся рогам – и опустил оружие. Глупая, не охотничья мысль прямо мешала ему – как будто по тому, кого он только что спас, сам же и стреляет. Кобяков сел, переводя дыхание, по привычке ткнул сигарету в рот, отстегнул магазин и стал набивать его патронами.

Он добил подранков и, снимая шкуры, проморгал вертолет. Тот выскочил из седловины, Степан как раз снимал неудобное место с задней ноги, сустав выламывал, замер, недобро провожая взглядом машину и вытирая о снег кровавые руки. Вертушка сбросила скорость и стала подворачивать. Степан еще раз теранул руки о штаны, спустил рукава и встал с карабином в руках в полный рост, Карам сидел возле рюкзака и тоже смотрел на вертолет.

Вертушка выправилась и, взяв прежний курс, начала удаляться. Не за мной, понял Степан и сел на снег. Посмотрели на волков и дальше пошли. Не менты. Но меня видели.

В зимовье ввалился за полночь. Уставший и злой. Он все делал не по уму. Как будто не сам. Он спустился до середины Талой, там у него было кострище, напилены дрова и неплохой чумик из корья, и собрался было ночевать, но не остался. Наскоро пивнул чаю и ночью уже пошел через хребтик в зимовье. Сапог, штаны и суконку порвал, как без глаза

не остался... У этого зимовья была вертолетная площадка, и хотелось посмотреть, не сидели ли на нее.

Никого не было. Степан осмотрел все с фонариком – снег у избушки был нетронутый, только дятел накрошил коры с листвяка.

Печка-полубочка трещала вовсю и светилась малиновым боком. Степан спал, привалившись к холодным бревнам и не погасив лампы. В большой чугунной сковородке застыла недоеденная тушенка.

Утром он долго стоял без шапки, глядя, как занимается рассвет. Так он молился. В двух зимовьях были у него старинные, доставшиеся от дедов иконы с едва различимыми ликами – Николы Чудотворца и Спасителя, – но молился Степан всегда на восход солнца. И только единому и всемогущему Создателю. Зимой, когда солнце всходило поздно, он стоял, глядя на ночной восток, и думал о хорошем, о чем-то, что вызывало спокойную внутреннюю радость. И благодарил Господа, и просил, чтобы день грядущий был наполнен силой и работой. В Богородицу Степан почему-то не верил. Может быть, потому, что она, женщина и Мать, не могла наказывать...

И теперь он стоял, прочитав «Отче наш», пытался думать о чем-нибудь хорошем, а в башку лезла дрянь последних дней. Он чувствовал вину, но не мелкую, не перед ментами. Перед жизнью, перед его горами и этим вот обледеневшим ручьем... даже мужики поселковые вспоминались, и он думал, что нехорошо вышло. Менты по злобе, особенно если икру найдут, а они ее, конечно, найдут, могут поприжать таких, как он. Ярость, остывшая уже, поднималась в нем... Не получалась сегодня молитва.

## 6

Поселок Рыбачий был центром большого таежного района одной из российских областей. Согласно большой красной надписи в местном музейчике, созданном еще при советской власти каким-то чудачком-пенсионером, сколько-то Швейцарий в нем помещалось, кажется, четыре. И вот в этих четырех Швейцариях жили четыре тысячи человек в самом райцентре, и еще пара тысяч были разбросаны по нескольким поселкам и редким рыбацким бригадам вдоль моря. До перестройки, до развала Союза или еще бог знает до каких-то там дел на материке, народу в районе было в семь раз больше. Жизнь тогда была... то ли хуже, то ли лучше, пусть это скажет, кто знает, что такое хорошая жизнь, но во всяком случае – яснее. В рыбацких поселочках, большинство которых жили без названий, а просто под номерами, ловили и насмерть, будто не для еды, а на вечное хранение, солили красную рыбу и селедку. Был порт с рыболовецкими и всякими другими ржавыми и облезлыми судами. Коопзверопромхоз принимал у охотников белку, соболя, выдру, оленину и сохатину. Эвены пасли стада оленей – был и такой колхоз для националов.

Все это работало убыточно, продукцию или не давало совсем, или давало, но совсем негодную, но зарплаты платились, интернаты, детсады и ясли с горем пополам работали, теплотрассы, пусть и не вовремя, а чинились. Киномеханик раз в неделю летал в областной центр за картинами. Телевизор брал первую и вторую программы. Вторая, правда, показывала плохо.

Большая часть еды и тепла добывалась на собственных огородах, на речках и в лесу, и люди чувствовали себя более-менее уверенно. Им казалось, что так будет всегда. Если бы их спросили, то они сказали б, что пусть так оно и будет. То есть у людей в Рыбачьем было вполне сносное будущее. По старинке еще относительно вольное, то есть такое, когда рассчитывать надо на самого себя и что поперек этих расчетов никто особенно не встанет.

Но жизнь странно зависит от воли людской, непрямо, а иногда кажется, что и не зависит вовсе. И указам, даже самым высоким, не особенно подчиняется. Сначала по телевизору стало интереснее, потом и в жизни – зарплату перестали платить, предприятия начали закрываться. Исчезали суда из порта, почти не осталось рыбацких бригад по берегу. Люди уезжали – кому было куда ехать и кому было все равно, где жить. Но были и другие. Эти терпели, поругивали, конечно, начальство, далекие московские власти, но... что делать. Люди, близкие природе, а поселок был к ней ближе некуда, хорошо знали, что жизнь, как и большая своевольная речка, на которой они жили, свое возьмет. Что ее нельзя ни остановить, ни тем более повернуть вспять. И, как в случае с речкой, надо было переждать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.